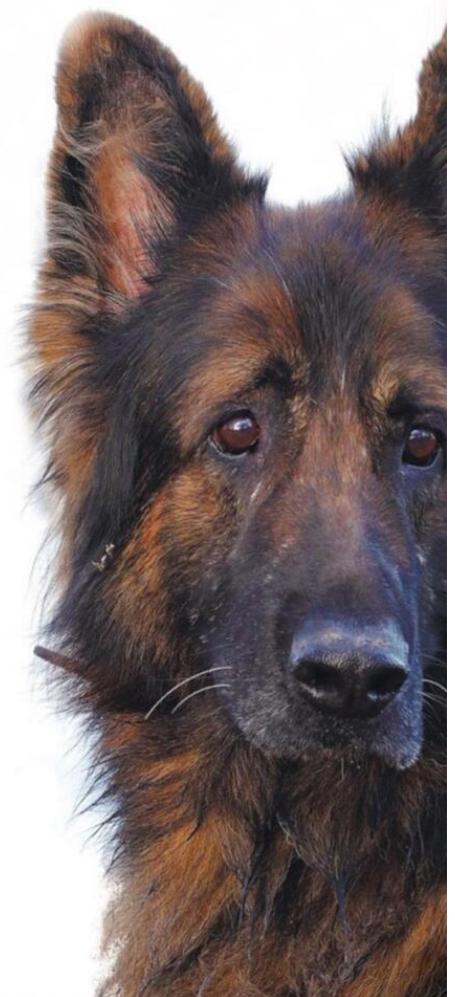
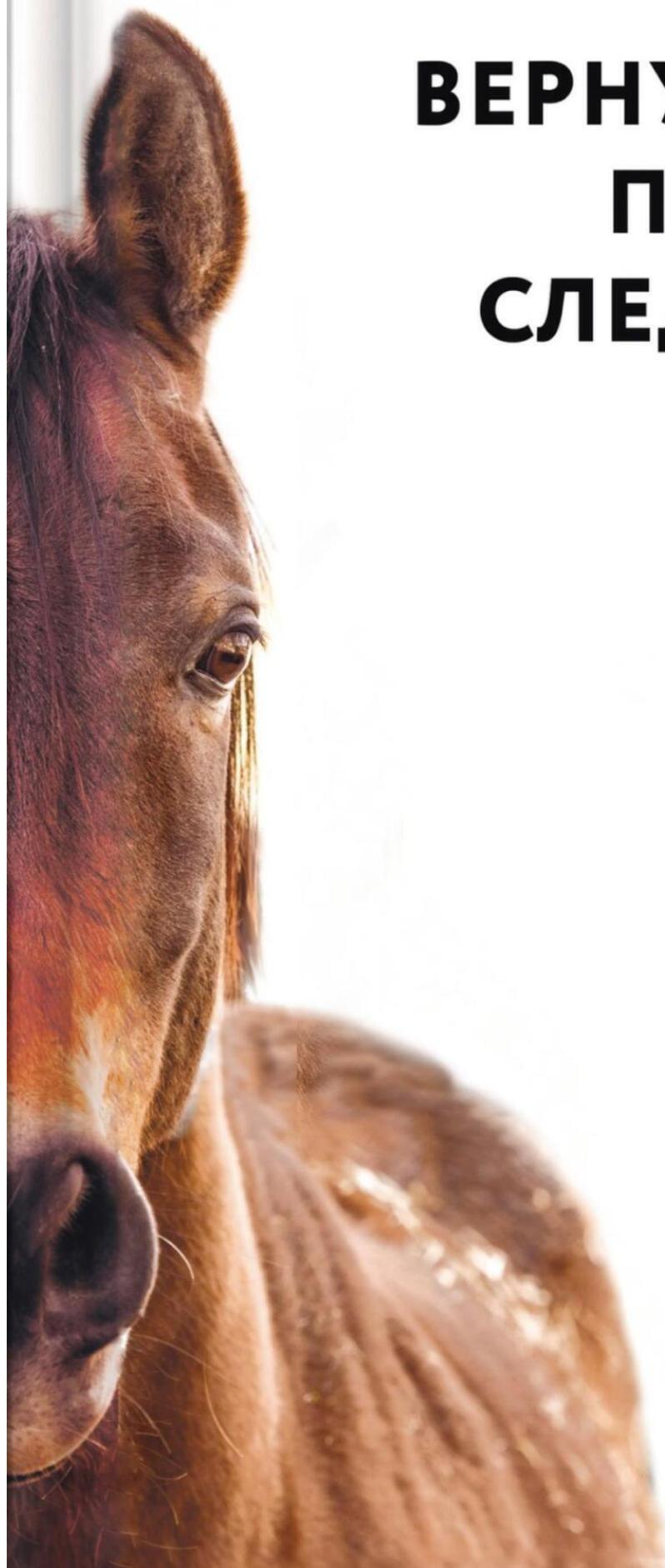


СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Глория Му

**ВЕРНУТЬСЯ
ПО
СЛЕДАМ**



Глория Му
Вернуться по следам

«Глория Му»

2009

Му Г.

Вернуться по следам / Г. Му — «Глория Му», 2009

Эта книжка больше всего напоминает мультфильм Тоторо. И волшебно, и удивительно, и в то же время так знакомо: по настроению, по ощущениям, по картинке, возникающей перед глазами. Потому что детство было у всех. Те, у кого оно было счастливым, с удовольствием вспомнят его, те, кому не так повезло, смогут «добрать» впечатлений, эмоций. «- Я тебя серьезно спрашиваю, подумай хорошенько, прежде чем ответить, – чем носорог хуже василиска? – Ничем не хуже... Только он не чудесный, а нормальный. – Он – чудесный!.. Просто некоторые... ничего не смыслят в чудесах, не замечают их, не ценят, а ждут, пока их начнут развлекать фокусами. И в фокусах, кстати, они тоже ничего не смыслят, принимают их за чудеса, а потом страшно обижаются, кричат, что их обманули... А их не обманули. Их развлекли... И надо уметь отличать обман от искусства». Эта книга для тех, кто не разучился верить в волшебство рядом с собой, и потому с ней получится вернуться в детство - вернуться по следам.

© Му Г., 2009

© Глория Му, 2009

Содержание

Книга первая	6
Глава 1	6
Глава 2	15
Глава 3	20
Глава 4	25
Глава 5	29
Глава 6	34
Глава 7	39
Глава 8	46
Глава 9	51
Глава 10	60
Глава 11	65
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Глория Му

Вернуться по следам

*Автор предупреждает, что все события и герои вымышлены.
Любое совпадение с реальной жизнью – случайность.*

Книга первая

Глава 1

Как залетела моя мама – не знаю. Я не о технической стороне вопроса, тут все ясно, я о том, что рожать ей было никак нельзя (порок сердца) и как они с папенькой не уследили за этим шустрым сперматозоидом – неизвестно. Почему она не сделала аборт – тоже остается загадкой. Маменька была врачом. И папенька был врачом. И все их друзья были врачами. И друзья их друзей. Проблем бы не было.

Но вот – решили рискнуть.

Мало того – папенька, воспользовавшись безответностью беременной женщины, утащил ее из столиц в какую-то немислимую глушь, где ему, папеньке, предложили место главврача и уездную больничку в виде кучи мусора.

Разные люди на протяжении всей папиной жизни задавали ему один и тот же вопрос: в своем ли он уме?

Вот и в этот раз не обошлось. Ну сами подумайте: вместо того чтобы давать взятки, искать хороший роддом, обольщать профессуру, он увозит большую жену к черту на рога, где из всех доступных медицинских услуг – только он сам. Но папа знал, что делал.

Он посадил маму в большой кирпичный дом на большую арабскую кровать, которую выиграл в карты (да, папенька был не просто долбанутым – он был долбанутым покерным), выписал из далеких краев мамину польскую родственницу, чтоб приглядывала, а сам принялся отстраивать больничку.

Через девять месяцев там было лучшее оборудование, которое только можно было найти, и лучший штат врачей – таких, знаете, молодых львов, которых папенька сманивал откуда только мог, обещая, что «будут деньги, будет работа, только славы не будет – будем сидеть тихо, как мыши, чтобы эти не лезли».

«Эти» – у папы так называлась советская власть, которую он сильно не любил. Воевать с «этими» не имел ни времени, ни желания, поэтому решил просто спрятаться подальше.

Итак, рождение героя. Ну что сказать? Роды были ужасными. Маменька чуть не отдала Богу душу, ребенка спасли чудом (слава молодым львам). Не знаю, почему ей не сделали кесарево, роды продолжались много часов, а результат мог быть и получше. Я родилась слишком маленькой, синей и, что со мной ни делали, лет до пяти упорно ползла к могиле.

Но папенька был упертым, поэтому разработал целую методику по дальнейшему вычихиванию меня и маменьки. С мамой дело заладилось, а со мной вот пришлось повозиться.

Папенька баронствовал в невеликой украинской деревеньке, и тамошние места славились бабками-знахарками. Папа ездил, знакомился, проявлял уважение – и они таки делились опытом. Устоять было невозможно, его всегда бабы любили, всех возрастов. Очень высокий, за два метра ростом, черноглазый, веселый – ну как такому откажешь? Бабки спрашивали: «А чего ж ребенка не везешь?» А он отвечал: «Я сам, вы только научите».

Как видите, у него получилось. Я все еще здесь.

Но папенька не забывал и о деле. За два года его больничка поимела славу и в окрестностях, и в ближайшей столице. Потянулись люди. А он был не только «золотые руки» и «золотая голова», он был неплохим дельцом, мой папенька, и деньги зарабатывать любил и умел.

Денег надо было много: молодым львам, чтобы не разбежались; больнице, чтобы не развалилась; любимой жене, чтобы не скучала, и самому папеньке – на его маленькие слабости. Маленьких слабостей хватало: карты, книги, бабы, оружие, красивые вещи, охота. Собаки, да.

Я уже говорила? У моего папы было пятнадцать собак.

Будучи не только долбанутым картежником, но и долбанутым охотником, он держал три смычка гончих (это шесть голов, если вдруг кто не знает). Как кого звали – не помню и породу точно не назову. Мне кажется, что русские – рыженькие такие, с серыми жопками. Гончие – смешные собаки, сами разговорчивые и любят, чтобы с ними поговорили.

Папенька почти не спускал меня с рук, когда не был занят на работе (бабки насоветовали, мол, ты свою дохлость при себе держи, грей, тогда, может, и не помрет), поэтому кормить собак, натаскивать собак – это все было со мной.

Гончие жили в большом вольере, и папа заходил туда с двумя ведрами в одной руке и со мной – в другой. Меня он сажал на солому, а сам вываливал корм в корыто – собаки орали, толкались, даже пытались драться, было весело.

Папа никогда не пользовался арапником – только голосом. Был у него такой фокус, мне и самой потом пригодился.

Как-то раз собаки вырвались из вольера и устроили жуткую драку во дворе (помним, да, что было еще девять, кроме этих). Побоище было страшное – тут же куры еще да гуси, визг, рык.

Папенька (со мной на руках, как водится) вломился в эту кучу и заорал (а голос у него вполне росту соответствовал): «Сидеть!!!»

И сразу начался тихий такой сракопад – собачки загупали задницами об землю и умильно посмотрели на папу – что, мол, кричишь? Вот, мы уже сидим все.

Кстати, и вам советую, если вдруг собака неуправляемая, оставьте все эти «ко мне» и «фу». Собаки довольно быстро соображают, что к чему. А вот если хорошо натаскать хитрую тварь на «сидеть» – все, она у вас в лапах. «Будет сидеть. Ясказал». Только не торопитесь. Сначала добейтесь, чтобы эта команда выполнялась безукоризненно, а потом уж пускайте ее в ход.

Да, про гончих. После кормежки мы все шли гулять в ближайший прилесок – папе не хватало рук, поэтому меня он сажал в рюкзак, а псов вел на сворках.

«Собаке надо бегать», – говорил папа. А еще: «Суки лучше кобелей, они хладнокровные и управляемые». А еще: «Никогда не лезь к собаке, когда она ест».

Было два кобеля и четыре суки. Время от времени они рожали еще гончих, а так как все папины собаки (ну, почти все) были голубых кровей, то, распродав пару пометов, папенька отправлял маменьку в Болгарию – отдохнуть и развеяться.

Дальше. В доме жила пара вельштерьеров – редкие тогда собаки, – кобель и сука. Ну, вы понимаете. Когда они рожали новых вельштерьеров, папенька их продавал, и...

Из норных была еще фокстерьер Адочка – тихая такая сучка, любила в шкафу сидеть. Бывало, что и запирали ее там, и она весь день развлекалась, прогрызая ходы в куче ватных одеял. Шкаф откроешь – а там Адочка, вся в вате, как Снегурочка.

Был еще легаш, курцхаар Ангел. Головастый, забавный, очень умный. Вообще легавые – странные собаки. Вот вроде бы впечатлительные, внимательные к миру, умные, интеллигентные псы. Соображают как никто. А все же гопники – и морда в крови и перьях, и говно жрут, и чувство юмора – так себе. Я иногда думаю, что сама чем-то похожа на них – вот вроде две «вышки», и лицо такое обманчиво-интеллигентное, и умею быть оскорбительно-вежливой. А на самом деле люблю тяжелую работу, жареное мясо и поржать. А матом-то...

Я опять отвлеклась, а список кораблей всего-то до середины. Продолжим.

Итак, украшение дома и царица полей – пекинес Тиффани. Для своих просто Фани.

Папенька привез ее из Москвы, – разумеется, купил на выигрыш. Умудрился пронести щенка в самолет во внутреннем кармане пиджака. Лететь было недолго, меньше двух часов, собака большую часть времени спала, но иногда все же просыпалась и начинала скулить. Стюардессы удивленно оглядывались, а папенька, мой долбанутый красавец-папенька, делал им глазки и сам начинал прискуливать, «как песик от восторга перед вашей несравненной красо-

той, дорогая, мне, пожалуйста, коньяк». И что вы думаете? Сошло с рук, улыбались и давали. Коньяку.

Охраняли двор два местных волкодава-полукровки. Нигде и никогда я таких собак больше не видела – мосластые, гигантские, серо-бурые монстры. Спокойные – никакую живность не обижали; в семье сохранилась фотка: младенец-я стою между передними лапами одного из них, как в воротцах. Рабочий прием был – всех впускать, никого не выпускать. До дальнейших распоряжений. За щенками прилетали даже из Сибири пару раз.

Папенька принципиально продавал щенков подальше, кстати, «чтобы кровь не портить». Исключение – щенки гончих для взяток местным «главарям партии». Они приезжали к нам раз в год, в сезон, с «проверкой». Папенька вел себя как мать Тереза – кормил, поил, развлекал охотой и даже ни разу никого не обыграл в карты и не отколотил.

Собака Рекс, восточно-европейская овчарка. Было ему лет восемь, и с папой их связывала сложная мужская дружба – кто-то кому-то там спасал неоднократно жизнь в драках с поножовщиной (да, и эту простую русскую забаву папа любил), их «многое связывало», пес появился «до мамы», и отец его не бросил, повез с собой в новую жизнь. В деревню, в глушь, короче. Пес не признавал никого, кроме отца, даже на маму взрыкивал, и поэтому, когда родилась и запóлзала я, мама настояла, чтобы Рекса посадили на цепь. И Рекса посадили на цепь.

И вот когда мне исполнилось два года, я задумалась: что за ерунда, все собаки пасутся на воле, а этот чего на цепи? Непорядок.

Ага, и пошла отпускать собаку с цепи. Собака, надо сказать, ничего плохого мне не сделала – так, понюхала и облизала голову. И все бы у нас было хорошо, кабы не Зося, моя польская нянька. Зося, увидев, где дите, молча (чтобы не провоцировать пса) бросилась меня спасать. А я спряталась у Рекса в будке.

И тут начинается чистый Дюма-отец.

Папенька оказался недоступен – оперировал как раз. Дома была только мама – заболела потому что. И вот картина: мама, поднятая с постели страшным известием, бежит в ночной сорочке, босая и простоволосая, и волочет за собой немаленькую папину двустволку. Добежав до места, понимает, что этим зарядом можно уложить не только пса, но и меня, и будку разнести. Садится на землю и рыдает, красиво заламывая руки. Зося тащит из дома папин плащ, укутывает маму, садится рядом и прозаично плачет. Рекс рычит и не подпускает их ко мне.

Нет, я не была жестоким ребенком, я попыталась вылезти из будки и успокоить маму с Зосей. Но этот номер не прошел. Пес, рассудив, что не стоит выпускать дите к этим нервным женщинам, затолкал меня обратно, еще и задницей вход заложил для верности.

Так мы провели два часа, все устали, и собака тоже. Поскольку женщины больше не делали попыток отнять меня, Рекс залез в будку, где мы с ним и проспали мирно до папенькиного прихода.

Папенька, пришедши, был в шоке. Маму он любил, волноваться ей было нельзя, так что надо было срочно кого-то убить. Но кого? Собаку? За что? Меня? Так надо было объяснить ребенку, почему ко всем собачкам можно подходить, а к этой – ни-ни. Разве что Зосю, поскольку недоглядела. Но уж на женщин папа никогда руки не поднимал. Да и сидели мама с Зосей в одинаковых соплях по колено, куда уж тут бушевать...

Папа достал меня из будки, а я, хоть и сонная, помнила про ружье, поэтому сразу закалючила: «Папа, ты же не убьешь собачку? Она не виновата, я сама к ней полезла, папа, не убивай собачку, пожалуйста...»

А папа сказал, что никто никого убивать не будет и что за глупости.

Мало того, Рекса, как прошедшего тест на безобидность, отпустили с цепи.

Ну и последний – дворовый песик Мишенька. Местные дети сломали ему в щененстве лапы и бросили в пруд. Папенька его из пруда вынул, детям вломил, собаку вылечил. Мишенька

все равно остался колченогим, но был игручим и добрым, «моя» собака, детская забава, таскался за мной хвостиком.

Умер он, когда мне было три года. Не знаю отчего – заболел и умер. От меня почему-то это дело скрыли. Почему? Загадка. Я была деревенской девочкой и знала, что детей делают, а не находят в капусте, а про смерть – что она бывает и как выглядит...

Мне наврали, что собачка потерялась. Я плакала, тормошила взрослых, просила идти искать Мишеньку, но взрослые реагировали вяло. Они-то знали, что Мишенька надежно зарыт под яблоней, чего ж его искать.

Но я-то была «в папу», упертой. Сбежала со двора и отправилась искать Мишеньку по окрестным дорогам. Проблуждав не один час, умаявшись и обревевшись, я встретила странного пса – по виду помесь овчарки и лисицы. Не знаю уж, что на меня такое нашло, но я, рыдая, бросилась собаке на шею со словами: «Мишенька! Это ты, Мишенька? Ты вырос? Мишенька, пойдем домой, там все тебя обыскались...»

Фигня в том, что собаки даже не были похожи. «Мой» Мишенька был небольшого гладкошерстным рыжим песиком, а «этот» Мишенька – ну я уже сказала. Вот представьте себе овчарку, только рыжую и очень лохматую. Хрен его знает, ключевое слово – «рыжий», что ли?

Новый Мишенька охотно согласился со мной идти, а я даже не заблудилась и нашла дорогу домой.

Дома был армагеддон. Меня искали везде – в лесу, на речке, по погребам. А тут я сама прихожу, да еще с новым Мишенькой.

Влетело, конечно, но не так чтобы... Зато стали выпускать «на улицу» – ну со двора.

Мишенька оказался спокойным как валенок и таким же умным. Научился всем собачьим трюкам, умел прикидыватьсядохлым по команде и даже «служить» – что было непросто в исполнении. Мне серьезно не хватало роста, поэтому рабочий процесс выглядел так: я цепляла прищипанную загодя котлету на длинную палку и водила этим делом у пса высоко над головой, а Мишенька, с трудом поднимая свою тушу, становился-таки на задние лапы, помавая передними в воздухе. Как цирковая лошадь.

А спустя года три меня из-за Мишеньки выгнали из детского сада – и никакой папин авторитет не помог.

Мишенька таскался за мной неотступно, и, пока я находилась в заключении, он спал в клумбе под окнами.

А у меня была одна беда – я очень плохо ела. Настолько плохо, что набить меня пищей могли только папа или Зося ценой нечеловеческих усилий.

Воспиталки в детском саду натурально меня воспитывали. Поэтому, когда все дети уже спали в тихий час, я все еще сидела над тарелкой этого дурацкого борща или этой сволочной манной каши.

Переупрямить меня было сложно, воспиталкам надоедало, и они шли мучить других детей.

Тогда я открывала окно и звала Мишеньку. Пес запрыгивал с улицы и пожирал все – и борщ, и котлету, и кашу, и даже кисель.

Правда, назад на клумбу он ни фига не хотел, так что приходилось его обманывать. Я указывала на подоконник и говорила: «Барьер!» И Мишенька, простая душа, прыгал. А я закрывала окно.

Этот праздник продолжался недели две – воспиталки радовались, что все-таки меня сделали, только жаловались отцу, что ребенок неаккуратно ест.

Ну спалились мы, конечно. Заведующая вошла как раз, когда Мишенька вылизывал кисель из стакана.

Может, и обошлось бы, если бы она просто разоралась, но она схватила меня за руку и дала подзатыльник. Мишенька ее и прикусил, не стерпел.

Скандал был дикий. Папенька извинялся, давал взятки, но из сада меня погнали безвозвратно.

Вот поэтому, дорогие мои, собак я не боюсь. Совсем. Даже не понимаю, как это – бояться собак. Когда я была маленькой и мне говорили: «Осторожно, это чужая собака, кусается», я удивленно отвечала: «Дура она, что ли? Чего ей кусаться?»

Но я и не нагличала с собаками никогда – если уж зверь никак не хотел дружить, то я и не лезла. А если появлялась необходимость чего-то от него добиться – добивалась без хамства, со всем уважением, только лестью, обманом и уговорами.

И это все о собаках, а про детство – дальше.

Я много болела в детстве, действительно много и с размахом – пневмонии, ангины, температура под сорокет, а еще аллергия на цветочную пыльцу и парфюмерию. Если моя бедная мама имела неосторожность надушить себе запястья или укладывала в ванной волосы при помощи лака, то я в детской начинала отчаянно вопить. Запах был нестерпимым – как будто меня били в лобешник поварешкой.

Взрослые, к сожалению, оказались не особо умными и не могли связать два этих факта: мамины духи – мои вопли.

Я заговорила в одиннадцать месяцев – они меня вынудили, вы понимаете. Надо же было объяснить этим тупицам про духи и про манную кашу, да много чего еще.

С серьезными болезнями дело обстояло похуже – тут разговоры не помогали. Особенно паршивым было то, что даже при самой высокой температуре забытье не касалось моего лба своим милосердным крылом (а? Каково! Сестры Бронте передают привет Дюма-отцу). Я почти всегда была в сознании; ну так только, по мелочи – стены кружились, потолок падал мне на грудь и дышать становилось совершенно невозможно... В общем, чувствовала я себя, как жук, которого злой мальчишка посадил в коробочку и трясет. Не лучшие дни в моей жизни.

Ясное дело, как только мне становилось полегче, я стремилась покинуть помещение.

Пару раз крепко навернувшись с кровати, я разработала методу безопасного спуска – сперва сбрасывала вниз все подушки и одеяло, а потом кулем валилась сама.

Ходить я не могла (была слишком слаба, да и голова кружилась), но со страшной скоростью на четвереньках устремлялась к двери на улицу – там Зося и ловила меня. Тогда я принималась жалобно упрашивать ее: «Милая Зосенька! Отпусти меня! Я так хочу на солнышко!»

Зося глотала слезы, но выпустить меня боялась и как-то нажаловалась отцу. Папенька почесал репу и сказал:

– А не трогай ее, Зофия, посмотрим, куда поползет.

– Да как же! – испугалась Зося. – Она ведь снова заболит!

– Заболит – вылечим, – бесстрастно отвечал папенька. – Выпускай.

И точно, никуда я не делась – выползла на середину двора и уселась на дорожке, вымощенной бетонными плитами. Там и сидела – как ящерица на разогретом камне.

Папенька снова почесал репу, потом принес с чердака старую дверь, набросал на нее соломы и в это гнездо усадил меня с книжкой, а Зосе велел забрать меня часа в четыре – до того, как подкрадет вечер с этой его росой и прохладой.

Я сидела на соломе, как королева в изгнании, и читала вслух гусям и собакам, которые любили устроиться рядом.

Да, читать я научилась довольно рано – и вы бы научились чему угодно, если бы по четыре недели подряд вынуждены были проводить в постели.

На второй день рождения папенька подарил мне кубики-азбуку (ну знаете, такие, с буквами на бочках), а к пяти годам я уже перечитала почти все, что было в доме, включая большую медицинскую энциклопедию в шестнадцати томах (просто она стояла на самой нижней полке, ну и с картинками). И когда какой-нибудь неосторожный гость (а у нас частенько бывали гости) хватал меня и начинал сюсюкать: «Ах, какая хорошая девочка! А ты расскажешь мне

стишок?» – я обычно отвечала: «А давайте я вам лучше о твердом шанкре расскажу. Это так интересно! Вот погодите...» – и бежала в библиотеку, и волокла оттуда тяжелый том, и раскрывала у гостя на коленях, и входила в подробности, ага.

Гость бледнел и морщился, а если сам был врачом, то ржал. Но в любом случае оставлял меня в покое.

Я не очень-то любила гостей – да, духи, одеколон и все такое. Из всех это прощалось только специальным папиным (раз в полгода к нему приезжали покерные – играть). Но как раз эти-то меня не тискали, а вовсе наоборот.

В папином кабинете раскладывали карточный стол, гости рассаживались, я терлась поблизости, и обязательно находился один засранец, который говорил:

– Генрих... – У папы было королевское имя, однако в сочетании с отчеством – Васильевич – это звучало отнюдь не величественно. – Генрих, убери-ка своего вундеркинда от стола.

– Ей четыре года, – смеялся отец.

– Да? А не с ней ли мы сегодня беседовали о созвездии Ориона? Ну-ка, деточка, какие самые яркие?

– Беллатрикс, Ригель и Бетельгейзе, – хмуро отвечала я.

– Отличная память, – насмешливо хвалил гость и выжидающе смотрел на папу.

– Ты невежлив с дамой, – холодно говорил отец и ставил для меня стул позади своего.

Но я знала, что это отвлекает папу, поэтому, во-первых, стала меньше трепаться, а во-вторых, перед игрой шхерилась на книжной стремянке у стеллажей – оттуда все было прекрасно видно.

Мне очень нравилось за ними наблюдать, очень. Они были такими прекрасными, такими спокойными, холодными и точными – как папины кинжалы, висевшие над диваном. И, несмотря на эти спокойствие и холодность, где-то на втором часу игры воздух в комнате сгустился, начинал дрожать, как от зноя, и меня охватывала странная свирепая радость. Мне так хотелось к ним!

Папа пробовал учить меня игре, но мама, увидев, ударила в слезы и запретила ему, а с меня взяла обещание никогда и ни при каких обстоятельствах не брать в руки карт.

– Но почему? – возмутилась я.

– Хватит в доме одного игрока, – твердо отвечала мама.

Так что я могла только смотреть и сплетничать с папой после игры (в день игры он не укладывал меня спать, они засиживались до утра, а я сливалась часов в десять, во время перерыва, – чтобы Зося не пришла меня искать).

Гости уезжали следующим днем, обычно до полудня, а мы с папой забирались на голубятню – «отдохнуть от отдыха», как он говорил.

Папа подбрасывал голубей в небо, свистел, размахивал курткой. А потом мы сидели на теплой крыше и болтали, наблюдая за птицами.

– Папа, правда, они похожи на рыцарей Круглого стола? – спрашивала я.

– Кто? Голуби? – удивлялся отец.

– Нет же! Те твои друзья, что уехали...

– Не думаю... Нет, пожалуй, нет, – задумчиво говорил папа.

– Почему – нет? Ведь покер – это как поединок, разве нет?

– Ну, понимаешь... Азартные игры – это не очень хорошо.

Но я-то видела, что это – очень хорошо, и рассерженно требовала:

– Папа! Не обманывай меня!

– Ну ладно-ладно. – Голуби начинали опускаться, поэтому папа еще немножко свистел и прыгал, а потом садился рядом со мной и рассказывал: – Ты права. Покер – это такая битва для цивилизованных мужчин. Чтобы можно было друг друга победить... но не калечить. –

Тут он улыбался. – И вообще, игры и любовь – это все, что осталось нам, бедным искателям приключений. Такие дела, дружище. – Папа трепал меня по волосам.

– Почему – все? А путешествия? А Тур Хейердал?

– И это игра. Ведь ему не нужно было на самом деле плыть на плоту, понимаешь? Необходимости не было. Полно всяких самолетов и пароходов. Да и в самом путешествии не было необходимости, по существу. Ничто не толкало его в путь – ни голод, ни угроза жизни, ничего такого. Просто игра, приключение, ставка – жизнь, выигрыш – знания. Понимаешь, о чем я говорю, дружище?

– Да... – Я неуверенно кивала. – А любовь тогда почему приключение? Потому что приключается? Вот я... я же тебя люблю? Разве это игра?

– Я тоже тебя люблю, маленькая, – папа целовал меня в нос, – просто любовь бывает разная. Как тебе объяснить...

– А! Я поняла! Это как в книжках, да? Как Ла Моль и Маргарита? Да?

– Да. – Папа смотрел на меня с сомнением. – Ты слишком много читаешь, дружище. Понимаешь хоть что-нибудь из того, что прочла?

– Конечно, да, – обиженно отвечала я, – что же я, дурочка?

– Тогда расскажи, что ты поняла про Ла Моля. – Папа смотрел на меня лукаво.

– Ну... Он был очень смелым, но не очень вежливым, – бойко отвечала я, – и поэтому погиб. Вот если бы он тогда подал руку палачу, тот бы пощадил его, как пощадил Коконнаса. Это значит, что надо быть вежливым и любезным... со всеми людьми, а не только с теми, кто тебе по душе... так, на всякий случай... Вот что я поняла из этой книги, папа.

Папа так хохотал, что опустившиеся было голуби снова взмывали ввысь, заполошно хлопая крыльями.

Отсмеявшись, он хвалил меня:

– Ты молодец. Прости, что сомневался, ты все очень хорошо понимаешь, я рад.

– Так это ты от радости смеялся? – подозрительно спрашивала я, а папа с серьезным видом кивал.

Потом мы кормили голубей и чистили клетки.

Птицы лезли отцу в руки как глупые толстые дети, садились на голову и на плечи. У него был дар – внушать доверие и животным, и людям. Он любил и понимал все живое, и казалось, Бог создал его, чтобы приводить мир в порядок – чинить, лечить, собирать по кускам человек, зверей и птиц, налаживать то, что плохо работает.

Когда мои родители приехали в деревню, папа не имел никакого представления о «сельском хозяйстве». Спустя полгода у него был лучший скотный двор в округе. Куры, гуси, свиньи, собаки, голуби – все у него процветало и размножалось как заведенные (и он зарабатывал на этом, деньги его тоже любили).

Он отстроил заново больницу, привел в порядок больничную конюшню, подарил местной библиотеке треть своих книг, устраивал детские праздники, добывал для местного клуба новые фильмы и заманивал туда столичные труппы, мимоходом подбирал больных ворон и собак с перебитыми лапами, успевал воспитывать меня, любить маму (и, увы, изменять ей), играть в свой покер и на рояле («Не для музыки – для пальцев» – так он говорил), писать статьи и шляться по всяким конференциям и симпозиумам. Жизнь плясала вокруг него веселым смерчем, затягивая в свой танец всех, кто оказывался поблизости.

Он был хорошим организатором, талантливым хирургом, прекрасным отцом. Он был хорошим человеком? Скорее, интересным. Честным точно не был – картежник, бабник, авантюрист. «Мошенник» – так называла его мама, когда они ругались, а надо сказать, они были скорее красивой парой, чем хорошей, и ругались частенько.

Обычное дело, если женщина скандалит – значит, она боится, а папа... О да, он умел подбросить повод для опасений.

Мама боялась за него и боялась остаться без него, и она кричала, выпуская этих черных птиц страха, свивших гнездо в ее сердце, она кричала, что его посадят и его ребенок вырастет сиротой. Она спрашивала, почему он не может быть как все, а он устало отвечал:

– Аня, если бы я был «как все», ты пошла бы за меня? – И начинал ходить по комнате, монотонно, как медведь по клетке. – И что значит – как все? Уехать в город, сесть заводделением, бренчать в чужих кухнях на гитарке, ругать власть и ждать в то же время от нее подачек? Так? Как этот твой великолепный Павел? «Эта власть мне ничего не дала», – говорит тридцатипятилетний мужик, рассказывает анекдоты про Брежнева и мнит себя диссидентом! Аня, это смешно! Совок давно перестал быть тюрьмой народов, теперь это – детский сад народов. И люди ведут себя, как ленивый внучок-подлиза при дедушке-маразматике: тырят мелочь из карманов, выпрашивают подарочки, ябедничают и смеются над ним за его спиной... А я – взрослый мужчина, Аня, взрослый... Я не нуждаюсь ни в чьих подачках, что мне надо – я сам возьму. Я должен созидать, строить, работать, в конце концов, не отчитываясь о каждом своем шаге перед этими лживыми надутыми свиньями...

– Но, Генрих, – тихо говорила мама, – ты здесь, в этой глуши, занимаешься куроводством... Ты, хирург от Бога, тратишь свое время неизвестно на что... А мог бы делать свое дело, получить кафедру... Тебя ведь все уважают...

– Получить, получить, получить, – горько и зло повторял отец, – получить кафедру, получить квартиру, получить «получку»... Кто же мне даст, Аня, то, что мне нужно? То время, что я трачу на куроводство здесь, там я потрачу на лизание задниц... Иначе никто не даст мне работать, ты же знаешь.

– Но люди же живут. И работают как-то, – робко возражала мама.

– О да, как-то живут... Но я так не могу. Кем ты меня видишь? Лицемерным докторишкой, царственно принимающим взятки от больных и студентов? Бьющимся за польские «стенки» и чешское стекло – как у всех? Выслушивающим кляузы на свой моральный облик? Я – не персидский ковер, меня нельзя свернуть и поставить в угол, мне мало там места. Мало. Мало! Им не важно, хороший я врач или плохой, милая, им важно, чтобы я был послушным. А я – не ребенок.

– Я совсем тебя не понимаю, Генрих, совсем, – мамин голос делался грустным, – прости...

Тогда папа подходил к ней, садился рядом:

– Тебе скучно здесь, малыш? Хочешь, съездим куда-нибудь? – Он целовал ее ладонь, прижимал к щеке.

Они тихо мирились, а я выползала из-под арабского столика и уходила к Зосе.

Я обнимала ее за ноги, и знаете, что я вам скажу? Конечно, мужчинам нравятся короткие юбки, но детям нравятся длинные. За них так удобно цепляться! Зося не носила длинных юбок, она, как все деревенские женщины, носила уродливые платья чуть ниже колена и редко снимала фартук.

Какой она была? Я почти не помню, потому что никогда не задумывалась над этим. Она была со мной всегда, от самого рождения, мое любимое теплое облако. Люди говорили, что она дебелая и белобрысая. Это значит, что она была высокой и сильной, с большой грудью и широкими бедрами, светловолосой и светлоглазой, с белыми бровями и ресницами. Я и теперь считаю таких женщин самыми красивыми, мне кажется, что эти пушистые белые ресницы – сплошная нежность, и я не знаю, как у вас, девушки, поднимается рука их красить.

Зося оставляла свои кухонные дела и спрашивала:

– Цо се стало, ясочко моя? Напугали они тебя опять?

Я кивала, тогда Зося брала меня за руку, мы выходили из дома, садились на деревянное крыльцо, она обнимала меня за плечи, и мы молча смотрели на вечернее солнце.

Мы сидели долго, и собаки, шатавшиеся по двору, подбегали к нам, приветливо виляли хвостами и укладывались рядом – получался такой пестрый живой коверчик.

Я прижималась к Зосе сильнее, но страх не уходил. Я боялась, что однажды папа с мамой разругаются насовсем или решат все же отсюда уехать, – и что тогда?

Все другие места не годились для жизни, так я думала, а мне было с чем сравнивать. Мы ездили в Болгарию, в Польшу, к моим дедушкам и бабушкам, живущим в разных городах (да, у меня все не как у людей – другие ездили к бабушке в деревню, а я – из деревни).

Неужели же они не понимают, думала я, что это место – самое лучшее из всех? Здесь все есть, и речка, и лес, и вот все эти собаки и другие звери – а их куда?

Солнце начинало лениво заваливаться за горизонт, а я так и не могла представить себе жизнь без собак.

Глава 2

Кроме собак, были и другие звери, конечно.

Когда я была маленькой, лет трех, мой папа подарил мне хомячка. Хомяк был хорош собою – розовенький, пушистенький, с черными блестящими глазками, я сразу его полюбила, и было нам счастье.

Однажды папа уехал в командировку дня на три, а вернувшись, спросил меня, как там мой питомец поживает.

Оцепенев от ужаса, я сказала: «Папа, я о нем совсем забыла».

Папенька бросился к клетке, хомяка мы застали в живых – он лежал такой несчастный, на мокрой подстилке, глаза открывать отказывался, и вообще, протягивал ноги дружбы.

Но все кончилось хорошо – папа реанимировал зверька, отпоил теплым молоком из пипетки. В награду за стойкость героическому хомяку был куплен еще один хомяк, и они вдвоем наделали множество замечательных хомяков. А я больше никогда никого не забывала покормить. Такие дела.

Могу добавить, что хомяки, рожденные им в союзе с другим хомяком, почему-то пользовались бешеной популярностью среди местных детей. «По хомяков» ходила вся деревня, была очередь, плелись интриги, что странно – деревенские дети обычно вполне равнодушны к грызунам, крыс и сусликов так просто мочили, и весьма жестоко. Но эти крохотные городские розовые твари быстро вошли в моду, и у кого не было хомяка – тот был лох.

А когда мне исполнилось четыре, папенька привез козу. Настоящую ангорскую козу, маленькую, пушистую, с янтарными копытцами и длинными, как у таксы, ушами.

Купил он ее по случаю – проезжал мимо какой-то ярмарки и подумал вдруг: а чего это мы собираемся и покупаем молоко у кого попало, если можно завести собственную козу? Ну и завел. Но поскольку в козах он не шибко рыл, то не учел одного важного момента – для дачи молока коза должна быть с козленком внутри. А приобретенное им животное было белым и невинным, как ангел.

Вникнув во все эти подробности козоводства, папенька повел себя неадекватно – вместо того чтобы отдать свежкупленную козу на поругание какому-нибудь козлу, он подарил ее мне, а сам купил еще одну – правильную. Эта была черной в рыжих пятнах и кудряшках и ждала козленка.

– А откуда она его ждет? – спросила я. – Из командировки? А он скоро приедет?

Папенька подавил смешок и объяснил, что она ждет, когда козленок родится. Что такое «родиться», я знала, поэтому сказала:

– Ну ладно, будем вместе теперь ждать.

Папенька был в восторге от коз.

– Смотри, какие красивые, – говорил он, усаживая меня на ограду загончика, – как грациозно они двигаются...

– Ага, как королевы, – кивнула я.

– Ну как мы их назовем? – спросил папа.

– Как королев? – Я задумалась. – Изабелла и Маргарита?

– Хороша же ты будешь, бегая по деревне с воплями «Изабелла!» и «Маргарита!», – расхохотался папа. – Нет уж, хватит одного нелепого имени в семье. – А увидев, что я надулась, добавил: – Ну сама подумай: «Генрих Васильевич со своими козами Изабеллой и Маргаритой» – это же смешно! Давай что-нибудь попроще, а?

– Жучка и Мурка, – обиженно буркнула я.

С появлением Жучки и Мурки жизнь моя изменилась – я стала настоящей серьезной деревенской девочкой и теперь каждое утро отправлялась на работу, пасти коз.

Занятие оказалось несложным и ничуть не мешало личной жизни и любой бесполезной деятельностью. При одном условии: надо было правильно выбрать место, потому что эти козы жрут все. Даже так – Козы Жрут Все, все, до чего могут дотянуться, а учитывая, что это упрямые, резвые, дерзкие и на редкость сообразительные создания, умеющие к тому же лазать по деревьям, дотягиваются они до всего. И это все – жрут, да.

Папенька и сам в этом убедился, когда взял Жучку котиться в дом. Ну была у него такая привычка – забирать в дом щенных сук, вот и Жучка попала в эту категорию.

Выяснилось, что козлята здорово отличаются от щенков – они рождаются зрячими и уже через пару часов начинают скакать на своих четырех, с грохотом и меканьем носиться по дому и – угадайте – да, жрать все.

После того как мать с младенцем сожрала папины брюки, обрушили карниз в процессе поедания занавески, вступили в поединок с парой вельштерьеров и в пылу сражения разбили какую-то особенно любимую мамой вазу, папенька вынужден был признать, что козам в доме не место, и с почетом препроводил их обратно в загон.

Папа выглядел огорченным, и я поспешила его утешить:

– Ничего, пап! Я буду их воспитывать.

Но тут вмешалась Зося.

– Жучку не трожь, – строго сказала она, – у нее от твоих фокусов молоко пропадет!

И я стала воспитывать Мурку.

Козы легко учатся всяким трюкам, по характеру они нечто среднее между кошкой и собакой, наверное. Своевольные, наглые, любопытные и очень дружелюбные. А взгляд... Вот у вас есть знакомые козы? Вы знаете, что у них поперечные зрачки? И взгляд поэтому карнавально-безумный, с веселой бесовщинкой. Мурка легко выучилась танцевать, считать и давать лапу. Также в компании пса Мишеньки она освоила все «собачьи» команды (и знаете, животные легче обучаются бандой). Бедный Мишенька, он пережил несколько неприятных дней, когда я учила его лазать по деревьям. Я стыдила пса. «Вот видишь, Михуил, – говорила я, – Мурка научилась и «ко мне», и «фасу», и «сидеть», а ты что, не можешь на дерево влезть? Ну хотя бы на эту веточку, ну пожалуйста...»

Пес смущался и в конце концов научился запрыгивать на пологие ветки старого дерева, росшего на окраине деревни. Там мы и сидели втроем в жаркие дни, пожирая яблоки, а проходящие мимо деревенские плевались или крестились украдкой, глядя на нас.

Вот и все о козах, пожалуй.

Когда мне было пять, папа посадил меня на лошадь (если что, учат детей и помоложе).

При больнице была конюшня с двумя битюгами и одной гнедой плюгавой лошадедкой неопределенной породы, похожей на немолодую училку, с узкими костлявыми плечами и широкой оплывшей задницей. Ну да – учительница первая моя. Папа не мог со мной ездить – был слишком тяжелым даже для битюга, поэтому гонял лошадь на корде, когда было время. Еще деревенские мальчишки брали меня с собой на выпас, и с папой мы ездили в Киев, на ипподром – у него там были друзья. Но мне было мало, мало, мало, а одну меня не отпускали, так что я решила попробовать освоить другие виды транспорта.

С собаками затея провалилась – самые большие, волкодавы, сразу ложились, если я пробовала забраться им на спину, и лежали мохнатыми неподвижными колодами, пока не отстану.

С козой тоже не вышло, козы «козлят» гораздо лучше лошадей. Органичнее. У меня прибавилось шишек и ссадин, да и Мурка разобиделась смертельно, так что пришлось искать новую жертву.

Выбор пал на свиней (не гусей же объезжать, ей-богу).

Свиньи у нас были здоровенные, миргородские, и подходить к ним мне строго запрещалось – папенька мотивировал это тем, что негоже настоящему индейцу дружить с тем, кого он собирается съесть.

Жили они в двух загонах – в одном три взрослые свиньи и отдельно огромная пятнистая свиноматка с двенадцатью своими дочерьми (ну такой вот удался помет).

Я сейчас подумала о том, что стбит в список жизненных интересов внести графу «трогать поросят». Вы когда-нибудь трогали поросят? Они та-а-акие горячие... И скользкие. И верткие. А еще у них смешные подвижные пяточки. И уши. И пушистые ресницы. И про хвостики все правда, они – штопором.

Вот есть же счастливики, которые держат карликовых свинксов, вот кому свезло так свезло! Свиньи умные, и еще мне кажется, что они самые трогательные из всех зверей (да-да да! Их приятно трогать!).

Увы, мой опыт общения со свиньями был... мнэ-э-э... не очень. Я решила объездить свиноматку, посчитав, что с одной взрослой свиньей справиться проще, чем с тремя.

Разработав план-перехват (который, как известно, результатов не дает), я набила карманы хлебом и забралась на ограду загона.

Подманив потенциального скакуна (или скакунью?) поближе к калитке, я прутиком открыла щеколду и спрыгнула свинье на холку.

Ошалев от ужаса, несчастная скотина (не я) с истошным визгом вырвалась из загона.

Свинья носилась по двору, вертелась на месте, тяжело вскидывала зад, а я чувствовала себя Мюнхгаузенем на горячем трехсоткилограммовом ядре. Лаяли собаки, куры взлетали у свиньи из-под ног, с гогогом разбежались гуси. Родео продолжалось недолго, с минуту, а потом свинья сильно тряхнула головой, и я, перевернувшись в воздухе, гулко упала на землю. Открыв глаза, я увидела прямо над собой страшную свиную пасть с редкими длинными желтыми зубами. Я даже не успела понять, что испугалась, а уже, тихо пискнув, взбиралась на высокую акацию, росшую у нас во дворе. Кто не знает, акация – это такое колючее дерево. Очень колючее.

Вцепившись в тонкие ветки почти на самой верхушке, я взглянула вниз.

В воздухе кружились перья, похожие на бутафорский снег, по двору обезумевшие от собственного лая собаки гоняли поросят и домашнюю птицу, Зося, выбежавшая на крыльцо, кричала:

– Деточка! Ты меня слышишь? Деточка, держись! Крепко держись!

И только тогда я поняла, что она обращается ко мне. Я хотела помахать Зосе, но руки почему-то не разжимались, и я завопила в ответ:

– Зося, я слезть не могу!

– Держись, доця! Я сейчас! – снова крикнула Зося.

Зося с конюхом Петром, который помогал ей управляться со скотиной (не со мной), притащили лестницу, но она оказалась недостаточно длинной, так что был мне бонус за выдающиеся успехи в верховой езде в виде настоящей пожарной машины, и отдирает меня от дерева настоящий пожарный в шлеме.

Радость моя несколько померкла, когда мой спаситель, вручая меня папеньке, прибежавшему по такому случаю из больницы, порекомендовал порку как лучшую воспитательную меру.

Но у папеньки были свои методы. Под хор требующих моей крови голосов (а когда опасность миновала, наказывать меня требовали все, даже Зося) папенька утащил меня в свой кабинет и приступил к воспитательному процессу.

– Дружище, что за дел ты натворила и какого дьявола? – спросил он.

Я, повесив нос, честно рассказала о своей необоримой тяге к верховой езде. Папенька задумался.

– Знаешь, с лошадаками чаще никак не получится, – наконец сказал он, – ни у кого нет на это времени, ты уж извини. Но может быть, ты обойдешься велосипедом?

– Велосипед – фуфлю, – скривилась я (у меня был трехколесный «Гномик», я уже давно на нем не ездила).

– «Фуфлю» – плохое слово, – автоматически поправил папа, – надо говорить «фигня»... э-э-э... то есть «велосипед – это ерунда». Но я имел в виду настоящий велосипед. Двухколесный.

– Двухколесный?! – обрадовалась я, но тут же поскучилась: – Пап, я же маленькая... Не дотянусь до педалей...

– Ну есть такие детские двухколесные. Я видел в Киеве. Куплю тебе на следующей неделе, если обещаешь никогда больше ни на ком без спросу не ездить. Идет?

– Идет! – Я прыгнула папе на шею, он прижал меня к себе, усмехнулся и сказал негромко:

– Эх ты, Стрелка Робин Гуда... Напугала как...

Через неделю папа привез из города два новеньких велосипеда «Зайчик-4» – мне и моему другу Игорьку.

Ну да. У меня был настоящий друг, человеческий детеныш. А вы как думали? Онли энималс? Я нашла его на дороге.

Одним летним днем мне выпал счастливый случай поиграть в Джона Сильвера – я сковырнулась с какого-то забора, ушибла колено и здорово хромала. Без попугая, увы, пришлось обойтись – куры ни на что не годились, а других кандидатов не было.

Ну и ладно, я набила старую авоську щепками и бумагой и, высвистав козу и пса, направилась к пересекавшему деревню большому ручью – или маленькой речушке? – собираясь построить, а потом потопить вражескую эскадру.

Я шла, старательно хромая, по деревне, весьма довольная собой – в сделанной из старой газеты пиратской шляпе с длинным петушиным пером, с прочным зеленым прутом в руке, который был то посохом, то шпагой, – и распевала пиратскую песню про йо-хо-хо и бутылку рома, пока вдруг не наткнулась на мальчика, играющего в солнечной дорожной пыли.

Тогда, тридцать лет назад, у всех парней были стальные шары – они выковыривали их из подшипников, которые воровали на колхозной автобазе.

Вот и этот играл в шарики, лежа на пузе, – знаете, такая игра, когда надо запулить их в ямку особым способом, что-то вроде детского бильярда.

– Привет, – сказала я. – Ты кто? Я тебя не знаю... А можно с тобой поиграть?

Мальчик посмотрел на меня, не поднимаясь с земли. У него было смуглое узкое лицо, тонкий нос и большие глаза цвета темного меда. Его волосы выгорели на солнце до странного платинового оттенка, и он был похож на марсианина.

– Со мной? Со мной никто не играет, – сказал мальчик.

– А почему? – Я присела рядом, вытянув неудобно забинтованную ногу.

– Мой папа – цыган, – мальчик сел, подобрав ноги по-турецки, и посмотрел на меня с каким-то злым высокомерием, – поэтому меня все дразнят и бьют.

– Ух ты! Настоящий цыган? С усами? С серьгой? – не поверила я.

– С усами, – мальчик невольно улыбнулся, – но сережек он не носит, ты что, он же не баба...

– Пираты же носят, – не сдавалась я, – а они редко бывают бабами... Ну то есть женщинами.

– Не баба и не пират, – отрезал мальчик. – А ты взаправду будешь со мной играть?

– Можно и подраться, если тебе так больше нравится, – я пожала плечами, – но знаешь, ты зря так злишься. Всех дразнят. И меня вот иногда дразнят докторенком, потому что мой папа – доктор, Генрих Васильевич.

– А, – кивнул мальчик, – вы живете в том большом красном доме. Ты – Глория, да? А я – Игорек.

– Очень приятно. А это мои друзья, Мурка и Мишенька.

– Какие же это друзья? – насмешливо спросил Игорек. – Это же просто коза и собака.

– Хорошие друзья, – обиженно ответила я, – а чего такого?

– Не могут собаки и козы быть друзьями, разве только в сказках, они же не умеют разговаривать...

– Еще как умеют. Просто ты не понимаешь на их языке.

– Ты, что ли, понимаешь?

– Нет, – вынуждена была признать я, – не очень еще понимаю. Это сложно, как по-индейски, там не только слова, но и всякие движения. Но можно выучить, если наблюдать их жизнь. Вот Миклухо-Маклай наблюдал жизнь аборигенов и понял их язык, хотя совсем ничегошеньки сначала не знал. Надо быть внимательным, вот и все.

– Что еще за миклухомаклай? – спросил Игорек, но тут Мурка мекнула и нетерпеливо переступила передними ногами. – А! Вот что она сказала?

– Она сказала, что устала стоять под солнцем на дороге, где нет ни листика, – снисходительно объяснила я. – Неужели сам не понял? Вообще-то нам пора, мы шли на речку делать корабли и играть в пиратов. И если ты не идешь с нами, то – пока...

– Иду, иду. – Игорек торопливо распахнул шарики по карманам, и дальше мы пошли вместе. – А расскажешь еще про этого... как его... про индейский язык? И про пиратов? И откуда ты все знаешь, ты же вон какая маленькая? Тебе сколько лет-то?

– Книги надо читать, в них про все написано, – огрызнулась я. – Сам маленький! А мне уже четыре, но совсем скоро будет пять.

– И мне уже скоро будет пять. – Игорек напыжился, вытянул тонкую шейку, хотя и так был выше меня на полголовы (я была недомерком, если вдруг вы забыли, конкретным недомерком класса до пятого). – Читать я еще не умею, но ты не думай, я все равно знаю полно всего... Песни красивые знаю и сказок сто миллионов... И про Котигорошка, и про царя Кука, и про спесивого пана. Меня мамка научила! Ну и батько розказував – про то, как цыган чорта надурыв, и про Вайду... а еще смотри, чего я могу! – И мальчишка прошелся колесом. – А? Видела? Умеешь сама?

Он говорил взахлеб, скакал вокруг меня чертененком и улыбался так, что не улыбнуться в ответ было ну совершенно невозможно.

Я и улыбалась.

Глава 3

Мы с Игорьком почти весь день провели на берегу речушки с поэтическим названием Пояйла (вся глубина которого открылась бы вам, если бы вы могли измерить глубину речки).

Коза мирно паслась под ивой, а мы строили флот и пытались забросить кораблики подальше в реку, но Мишенька, дурачок Мишенька, кидался в воду и приносил их обратно с таким глупым и довольным видом, что отругать его язык не поворачивался.

Игорек болтал, кувыркался, бегал за псом и вообще ни минуты не сидел на месте. Нет, я тоже была подвижным ребенком и часто слышала от Зоси о пресловутом шиле в заднице, но по сравнению с этим мальчишкой я была просто тормозом.

Я думаю сейчас о том, что нам здорово повезло родиться в семидесятых годах прошлого века в деревне, потому что, если бы нас растили в двухтысячном какие-нибудь жители мегаполиса, не миновать бы нам диагноза «гиперактивность», детских психологов и всякой другой сволочи. А так мы совершенно безнаказанно росли на воле, лазали по деревьям, заплетали иве косы, играли в догонялки, до посинения плескались в речке – и ничего нам за это не было.

Мы подружились сразу и накрепко. Знаете, бывает такое чувство, когда пазл, в котором элементы неба и моря перепутаны, наконец собирается как надо. Вроде и было нормально, и можно было так оставить, но теперь вот – правильно.

Игорек был первым мужчиной в моей жизни, сказавшим мне те самые слова: «Пойдем, я хочу познакомить тебя со своей мамой».

Когда мы пришли, мама Игорька, тетя Галя, возилась в огороде, но мальчику так не терпелось похвастаться, что он сразу закричал, обращаясь к ее большой круглой заднице, обтянутой цветастой юбкой:

– Мамо, мамо! Посмотрите, кто у меня есть! Посмотрите на мою Глорию!

Тетя Галя, с усилием разогнувшись, повернулась на голос сына, вытирая тыльной стороной руки пот со лба.

Она была очень красивая, хотя вам, наверное, не понравилась бы. Сейчас ведь модно иметь детей, да? Иметь – в смысле любить... Любить – в смысле... Ну, в общем, вы поняли. Современная красавица должна выглядеть подростком – плоский животик, узкие бедра, длинные, тонкие ноги – чтобы ее поимели. То есть полюбили. Ну, в общем, вы поняли. И если женщина старше пятидесяти килограммов, то она считается бытовым монстром. А в тете Гале были все восемьдесят. Сисястая и крутобедрая, с милыми ямочками на щеках, улыбчивая и синеглазая... Глаза у нее были не голубые, а именно синие, как темный сапфир, такие синие, что издали казались черными.

Тетя Галя подошла к нам, вытирая руки о фартук.

– Дзыга (так родители называли Игорька, это значит «юла»), да ты себе, никак, невесту нашел? – ласково сказала она. – Ой, да какая ж красивенькая девочка! А сарафан у нее какой нарядный! Ну-ка, покажись, Глория!

Я послушно повертелась перед ней, а потом представилась по всей форме:

– Здравствуйте, тетя Галя, очень приятно с вами познакомиться. Мой папа – Генрих Васильевич, а мама – Анна Николаевна, они работают в больнице. Осенью мне будет пять лет. С вашим Игорьком мы уже давно познакомились – позавчера и теперь друзья навеки.

– Ты ж моя умничка, – умилилась тетя Галя, а Игорек снова захвастался:

– Мамо, она все умеет, все! И читать, и считать, и бегать быстро, и не боится совсем ничего, прямо как я! А еще у нее ученая козочка!

– Я знаю, Игореша, слышала про твою подружку, – сказала тетя Галя, прижимая к себе сына, а на меня глядя с некоторым сочувствием.

И тут надо отмотать немного назад и вбок, чтобы объяснить обстоятельства мизансцены.

Сначала о родителях Игорька – тут вполне душераздирающая история.

Они были не местными, а в деревне, как известно, не так-то легко стать своим, там и десять лет можно называться приезжим.

Папа Игорька, дядя Боря, был еще покруче моего – он был цыганом, как уже говорилось, а еще он водил КамАЗ. Мама же Игорька, тетя Галя, никаким цыганом не была, а была она славной и доброй украинской женщиной. Когда она полюбила дядю Борю, все ее родственники восстали против такого союза, но тетя Галя уперлась рогом и вышла-таки замуж за кого хотела. А потом еще сказала дяде Боре: «Коханный, тут нам счастья не будет. Все тут на тебя смотрят как на бандюка и в семью никогда не примут. Так давай отсюда уедем, и пусть на новом месте на нас обох смотрят как на чужих».

Ну и уехали они, и уже лет пять, как жили в этой деревне, и на них «обох смотрели как на чужих».

Любили они друг друга очень. Бывало, подъедет дядя Боря к дому на своем КамАЗе и бибикает, а тетя Галя такой пухлой ланью к нему бежит-бежит, разбрызгивая кирзачами грязь, а дядя Боря откроет дверцу, станет на приступочку, и обнимает тетю Галю, и приговаривает: «Галюся, моя Галюся! Моя царица!» И целует в очи.

Индийское кино просто, если вы понимаете, о чем я.

В общем, жили они долго и счастливо, и я не помню, чтобы у них были проблемы с односельчанами, а вот у Игоря были.

Никто не хотел дружить с мальчишкой, местные дети травили его, как зайца, и дразнили «цыганвой». Он мог бы, конечно, не ходить со двора, но был слишком горд для этого, да и материно тихое упрямство унаследовал в полной мере.

Теперь обо мне, обо мне. Друзей у меня тоже не было, но совсем по другой причине. Я была «баронской дочкой», мой папенька был самым влиятельным и богатым типом в округе, и у меня было все, чего не было у других детей, – книжки, игрушки, даже хомяки. Все. Нет, дети вовсе не отказывались со мной играть, тем более что папенька раза по три в год закатывал детские праздники, на которые собиралась вся деревня.

Мой день рождения отмечался как всенародный праздник, на Новый год меня торжественно выбирали Снегурочкой (не только из-за папы, еще я лучше и громче всех читала стихи), и я помню, как плакала, потому что мне-то хотелось быть Чиполлино, а папа утешал меня и объяснял про «долг перед людьми» и что потом, когда я отчитаю все положенные стихи и мы раздадим подарки (ну, не надо объяснять, кто был Дед Мороз, да?), когда начнется шум и гам, я смогу потихоньку переодеться в Чиполлино, уже для себя.

Нет, мне жилось совсем не плохо; как все любимые и балованные дети, я была доброжелательной и общительной девочкой, меня любили, в общем. Но. Я была не такой, как все, и если это сейчас читает какая-нибудь настоящая красавица, то вот она меня поймет. Знаете, эти красавицы, которые проводят жизнь в одиночестве, потому что «она слишком хороша для меня» и к ним боятся подойти. Тут подлость в том, что это никак не зависит от личных качеств человека, понимаете? Хочешь ты или нет, родился особенным – терпи.

Красавицей я не была ни тогда, ни теперь, но «красавицыной» жизни хлебнула. Не мед.

Да, если кто не красавица и не понял, объясню по-другому.

Как-то папенька привез мне из-за границы детскую железную дорогу. Ну, знаете, такая волшебная игрушка, с совсем настоящими маленькими поездами? Мы собрали ее дня за три, и папа предложил позвать других детей, чтобы повеселее было играть. Ну, позвали. Вы думаете, хоть кто-то в нее играл? Сидели кружком, подсунув под попы ладошки – чтобы руками не трогать удивительные паровозики, – и только восхищенно пускали сопельные пузыри.

Мы уж с папой и так, и эдак – нет, ничего не вышло. Пришлось нам устраивать показательное выступление; мы запускали поезда, поднимали шлагбаумы, разводили мостики, а детишки просто смотрели.

Ну вот. И я была как эта самая железная дорога – что-то вполне хорошее, но «не для нас».

Когда я подросла и меня стали выпускать со двора, ситуация не особенно изменилась. Добавилась еще одна проблема – я была самой умной, а этого не любят. Но я действительно была самой умной (извините) и нашла решение. Кстати, трюк работал потом и в школе, так что рекомендую.

Если к вам подкатывают с наездом «Ты че, самый умный?», надо сразу предлагать в глаз. После ряда жестоких драк меня простили и приняли в общество. Вот такой почему-то закон природы – ты можешь быть самым умным, если при этом ты самое распоследнее хулиганье.

Что еще? Со мной играли, но не дружили. Я придумывала игры, рассказывала байки (и дети часто ждали меня у ворот, чтобы послушать «про Монте-Крысу и того деда, ну расскажи, они прорыли ход, убежали из тюрьмы?») и показывала «цирк».

Мурке очень нравилось «представлять перед публикой» (а вы замечали, что многие животные падки на аплодисменты и внимание?). Коза кланялась, как цирковая лошадь, делала комплимент и с удовольствием плясала, закончив номер. Мишенька тоже много чего умел; любимыми номерами были «разговор» (это когда собака как бы отвечает на вопросы), «бабушка пришла» (пес заворачивался в тряпку и прикидывался спящим) и чехарда (коза и собака перепрыгивали друг через друга).

Дети, конечно, не относились всерьез к моим словам о том, что можно выучить всему этому любую собаку. Они воспринимали это как чудо.

Когда я видела, что животные устали, и заканчивала представление, детвора окружала нас и требовала: «Еще! Еще!» – было даже страшновато, знаете. Все лезут, кричат, и ничего нельзя объяснить. Нельзя было объяснить, что звери не автоматы, что они не могут скакать три часа подряд, – никто не слушал, все хотели, чтобы чудо продолжалось.

Мне пришлось научиться отказывать без объяснений.

«Успокойтесь, – говорила я, – мы придем завтра, а сейчас мы уходим».

И мы уходили куда-нибудь подальше. Не надо объяснять, почему я любила гулять одна?

Со взрослыми было не лучше. Деревенские называли меня «бісова дитина» («чертово отродье», если по-русски), и не только из-за ученой козы.

Началась эта история, когда я была совсем маленькой, чуть старше года.

У Зоси заболела сестра, и она уехала в свой Львов недели на две, так что папа вынужден был брать меня с собой на работу.

И вот однажды он отлучился из кабинета, а к нему пришла одна деревенская старушка. Я уже довольно бойко болтала и, увидев незнакомую бабушку, высунулась из коляски и сказала:

– Здравствуйте, бабуся! Посидите, доктор сейчас придет.

Это была стандартная формула, я сто раз слышала такое от медсестер, но бабульку чуть кондратий не хватил – прибежавший на вопль папенька едва ее откачал, старуха все тыкала пальцем в мою сторону и беззвучно разевала рот.

Когда папа понял, в чем дело, он рассмеялся:

– Чего вы испугались, баба Вера? Это же не говорящая собака, а всего лишь говорящий ребенок!

Но баба Вера не видела говорящих детей такого возраста, деревенские-то начинали разговаривать не раньше двух, – и телега покатила.

Надо сказать, полностью оправдала доверие старушки и поддерживала свою репутацию как могла – нет, не нарочно, просто так получалось. Все, все было в кассу – и все мои выходки, и то, что я умела читать, ну и звери тоже.

Не может же быть нормальным человек, разговаривающий с козой, да? А я вообще любила животных и не боялась их. Самые свирепые деревенские псы ластились ко мне и виляли хвостами, а случай с Ковбаской только утвердил деревенских в том, что я однозначно шайтан.

Сейчас буду сложно объяснять. Был у нас водовоз по кличке Яешня. Звали его так, потому что он купил как-то рыжего мерина на бойне и назвал его... правильно, Ковбаска. Деревенские же насмешники каждый раз спрашивали: «Ковбаска, а где твоя яешня?» – пока самого владельца меринка не прозвали... правильно, Яешня.

Так вот, вез этот самый Яешня как-то воду на этом самом Ковбаске, а этот самый Ковбаска возьми да и встань прямо посреди дороги, и ни с места. Конечно, деревенская дорога – это вам не Садовое кольцо, тем не менее какое-никакое движение застопорилось, проезжающие люди на чем свет стоит бранили Яешню, а тот никак не мог совладать с лошадьё и, хоть был он мужчиной отнюдь не злобным, осерчал и стал нахлестывать Ковбаску по жопе со всей дури.

На ту беду лиса близехонько бежала, то есть я проходила мимо и, увидев такой беспредел, потопала к лошади, чтобы уговорить ее сдвинуться с места. Не спрашивайте, почему я была уверена, что получится. Была уверена.

Подойдя к Ковбаске, я обнаружила, что дело нечисто: мерин стоял, низко опустив голову, бока его были неестественно раздуты, уши прижаты. Яешня и сам бы это заметил, если бы его не дергали, а так он был озабочен только тем, чтобы убраться с дороги.

Я подошла к мужичку и попыталась схватить его за руку.

– Дядя Яешня! Дядя Яешня, – нудила я, – не бейте Ковбаску, он не капризничает, он заболел!

Но Яешня был слишком зол, чтобы меня слушать.

– Уйди, сопля! – прикрикнул он и оттолкнул меня.

Я больно шлепнулась на задницу, а Ковбаска не выбрал лучшего времени, чтобы тяжело опуститься на колени, а потом завалиться на бок. Лошадь повисла в упряжи, жутко вытянув шею и закатив глаза, а Яешня с ужасом уставился... правильно, на меня.

Подхватившись с земли, я подбежала к лошади. Ковбаска дышал с трудом, но дышал.

– Я за доктором, – сказала я оторопевшему Яешне и побежала к отцу (больница была близко, а ветеринар – только в колхозе).

Мне свезло, папа не был занят, а так как и сам любил животных, то без лишних разговоров прыгнул в свой «жигуленок» и съездил за ветеринаром.

У Ковбаски была колика, ему сделали каких-то уколов, подняли, поводили. Для мерина все закончилось хорошо. А вот для меня...

Казалось бы, чего особенного в том, что деревенская девочка разбирается в лошадях? А в том, что ребенок слишком много болтает? А в том, что человек учит всяким фокусам своего пса?

А вот по совокупности преступлений я была признана... правильно, бисовой дитиной. На мое счастье, глаза у меня были серыми, а не черными, поэтому меня считали добрым бесенком, а не злым, так что никто меня не обижал и детей мною не пугали.

Но тетя Галя имела все основания смотреть на меня с жалостью (а если вы помните, с этого и начиналось лирическое отступление). Видите ли, в чем дело, если бы я даже умела летать, деревенские все равно считали бы меня «уродиком» и жалели – как теленка-альбиноса или двухголового цыпленка. Не имеет значения, что цыпленок чувствует себя прекрасно, здоров и счастлив – отличаться от нормы плохо, и все тут.

Мама Игорька не запретила своему сыну дружить со мной – хотя для парня, у которого и так были неприятности, я была не лучшим кандидатом в друзья, как вы понимаете.

Она была доброй женщиной, а может быть, и сама слишком хорошо знала, что значит «жить не по-людски»? Не знаю. По-моему, глупо объяснять такие вещи. Так же глупо, как объяснять, почему мы с Игорьком стали неразлейвода.

Конечно, были причины, я и сама могу назвать не меньше пяти, но зачем? Все эти разговоры о том, почему он ее полюбил, почему она его разлюбила, – такая печальная глупость, вы не находите? И хотя это легкомысленно с моей стороны, сейчас, когда все все знают о любви,

я, наверное, всегда буду относиться к ней, как деревенские дети – к танцующей козочке. Без объяснений.

Глава 4

– А не боишься, что тебя тоже отлупят, если будешь со мной дружить? – с опасливым интересом спрашивал Игорек, а я беспечно отвечала:

– Подумаешь – отлупят! Мало меня лупили, что ли?

Нет, не то чтобы меня лупили много, но дралась я довольно часто, и даже Зося уже смирилась с тем, что я прихожу домой с битой харей, и почти не ругалась, а только орала солдафонским голосом: «Тр-р-р-р-ое суток ар-р-реста!» (У папы научилась.)

Но, видите ли, побить человека с большой собакой – большая проблема, поэтому мои драки обставлялись даже несколько парадно.

Для начала из толпы детей выбирался самый крепкий и здоровый мальчишка (ну, конечно, если я не с ним собиралась драться) – держать собаку. Мишенька был послушным псом, но совершенно не переносил, когда на меня поднимали руку; то есть даже бить было не обязательно, достаточно было просто замахнуться – и пес рычал, а если уж меня совсем начинали вбивать в песок, он мог не сдержаться и броситься на выручку, а это было нечестно.

Я говорила Мишеньке специальный код «лежать – нельзя – игра», мальчишка же должен был виснуть у пса на ошейнике и предупреждать ором дерущихся, если вдруг что.

Дрались мы один на один, остальные дети скакали вокруг и подбадривали бойцов визгом. Чисто бокс английский, в общем.

Но с Игорем-то все было иначе – его били кофлой, а так как он никогда не бежал и не просил пощады (ну есть такие люди), то, бывало, забивали почти до потери сознания, волокли к реке и бросали в воду (да, дети жестоки, потому что они – всего лишь маленькие люди, а никакие не ангелы). Как не утопили – загадка.

Ничего этого я не знала и продолжала думать, что двое на одного – это гнусность и что всегда можно договориться. Довольно скоро мне предоставилась возможность осознать свою ошибку.

Первая наша драка с деревенскими детьми прошла под знаком удивления с большой буквы «у» и с обеих сторон.

Дети страшно удивились, увидев меня в настолько неподходящей компании, кто-то даже поинтересовался, что я делаю с «этим цыганским выблядком».

Я же не менее удивилась, когда моих объяснений и призывов жить дружно никто слушать не стал, а где-то со второй фразы меня обозвали цыганской сукой и двинули в нос.

Честно сказать, первые минуты драки я позорно протупила – от удивления.

Меня никогда не били толпой – я уже говорила, а кроме того, когда люди, которых ты хорошо знаешь, даже где-то твои приятели, вдруг превращаются в кучу озверевших уродов, у которых одна цель – сделать тебе больно, по сути, без всякой причины, – это, несомненно, удивляет.

Так вот, мне разбили нос, подбили глаз и повалили с ног, а я все еще удивлялась, вяло брыкаясь.

Привел меня в себя собачий лай, и я, рванувшись из кучи дерущихся, завопила:

– Миша, фу! Миша, нельзя!

Собака неохотно улеглась, пряча нос в лапы (от соблазна), а меня ударили в спину, и, пропахав песочек своим (да носом же), я решила, что пришло время «грязных приемов», которым учил меня папа.

Меня схватили сзади, и я сильно двинула кого-то затылком в лицо, а потом добавила локтем по печени (кстати, я довольно долго – лет до восьми – путала право и лево, поэтому все время забывала, где она у человека – печень. Ну, и прежде чем ударить, тихонько спрашивала: «Печень, где ты?» – такая была привычка).

Деревенские дрались проще, били обычно в морду или в пузо, а сверхзадачей считалось повалить и забороть противника (при общем веселье – повалить и забить ногами), так что новинки, предложенные мной, – бить по ушам, по голени и кидаться под ноги – вызвали опять же некоторое удивление.

На меня навалились несколько человек, и я словно оглохла от боли. Все звуки слились в какой-то далекий рев, ну вы знаете, если когда-нибудь вас били, допустим, трое, а вы при этом не мастер боевых искусств, их никак, гадов, с себя не стряхнуть, двигаешься, как в киселе, лица нападающих наплывают глубоководными рыбами – бледные, с выпученными глазами и распяленными ртами, а кулак летит тебе в лицо так медленно, что почти всегда можно увернуться.

Игорек, насколько я могла его видеть, дрался на редкость жестоко, сбить его с ног было практически невозможно, а одного мальчишку он даже сильно укусил за щеку. Ну если уж тебя постоянно избивают всем колхозом – тут не до реверансов, я так думаю.

Я решила, что кусаться – это вполне эффективно, и тоже пустила в ход зубы. Укушенный взвизгнул и отдернул руку, а я наотмашь съездила ему по уху.

Ситуация становилась патовой – мы с Игорьком жались друг к другу, как два тщедушных злобных вороненка, нас окружали мордастые, белобрысые, как на подбор, деревенские дети, удивленные тем, что бить двоих, оказывается, совсем не так весело, как одного.

Это взаимное удивление нас и спасло – нам было понятно, что их по-любому больше, а каждому из них было страшно к нам сунуться.

– Ну ладно, хватит с них на сегодня, – неуверенно сказал Богдан, уважаемый человек среди мальчишек. – А ты, Глориечка, если не хочешь таких вареников каждый день отхватывать, не ходи с кем попало. Пошли, пацаны, ну их...

Мальчишки ушли, и я села в песок. Ко мне, виновато повиливая хвостом и поскуливая, подбежал Мишенька.

– А чего ты собаку на них не спустила? – Игорь сел рядом, ощупывая избитое лицо. – Ну, ниче, а вот в прошлый раз зуб выбили, но татко сказал – новый вырастет.

– Неспортивно, – ответила я на вопрос. – И что же, тебя каждый день так?

– Не, не каждый. Они ж не все время вместе ходят, а по одному боятся ко мне лезть. А ты ничего так дерешься...

– Папа научил. – Я осторожно потрогала пальцами разбитый нос.

– Та не бреш!

– Правда. – Я села поудобнее и стала рассказывать, почесывая пса за ушами. – Когда я выросла большая и меня стали пускать гулять одну, на маму напал ужасный ужас. Она все время боялась, что я упаду в колодец или с дерева, или меня кто обидит, или украдет какой-нибудь злоумышленник...

– Это что – «злоумышленник»?

– Ну, бабай. И мама так все время боялась, что потом и на папу напал этот ужас. И папа стал меня всему учить, как настоящего индейца, – чтобы всегда смотрела, куда наступаю, чтобы проверяла, не гнилая ли ветка. И драться тоже учил, чтобы защищать себя, понимаешь? Папа у меня – челябинская шпана, – с гордостью сообщила я, – он знает много всяких штук. Вот если за тобой гонится бабай – надо убежать и громко-громко кричать, если место людное. А если безлюдное – то наоборот, надо спрятаться и сидеть тихо-тихо. А если он тебя все-таки схватил, не надо плакать, а надо притвориться, что ты прямо доволен сидеть у него на ручках – вот так, – и я деланно улыбнулась, – а потом обнять его за шею и ка-а-ак дать вот сюда, – я показала на переносицу, – вот этим местом, видишь, тут у тебя как бы рожки, – и я провела пальцем по лбу, под кромкой волос, и Игорек тоже потрогал, – вот, и тогда он тебя обязательно уронит, и надо убежать. Или можно ткнуть в глаза, но это страшно, или по ушам ударить вот так, ладошками, но если дядька взрослый, у тебя может силы не хватить. А еще, если есть палка, можно стукнуть его сильно по почкам – это вот где – или под колени.

Увидев, что у Игорька сделалось хищное и заинтересованное лицо, я строго добавила:

– Но детей так бить нельзя. По спине нельзя, по почкам и по голове, а то искалечишь насовсем. И в глаза конечно же, только песок можно, например, сыпануть, а пальцами нельзя тыкать, ты понял?

– Да-а-а. – Игорек задумался. – Ниче так у тебя папка, молодец, научил всему.

– Не, не всему, – вздохнула я. – Подножки не научил делать, неудобно было показывать, он слишком большой, а я – вон какая мелкая. Так только, объяснял, а это совсем не то...

– Ну, подножки-то я тебя научу, – обрадовался Игорь, – я спец по подножкам, вставай, щас прямо покажу...

– погоди, давай сначала умоемся, – поднимаясь, сказала я, – кровь засохла, противно...

– А у тебя еще и фингал, – ткнул в меня пальцем Игорек и захихикал.

– А у тебя – целых два. Ты с ними на панду похож, – парировала я и тоже захихикала.

– Да-а-а, тебе смешно, – обиделся мальчик, – а я почти не вижу ничего, так распухло...

– Ладно, пойдем к речке. – Я примирительно взяла его за руку. – Только Мурку сперва найти надо. Вот чем сторожевые козы отличаются от сторожевых собак – они в драку без приглашения не лезут... А, вот она. – Я увидела Мурку на склоне холма и позвала: – Мурка! Мурка, ко мне!

Мурка бросила объедать кусты и подбежала.

– Моя хорошая... – Я стала гладить козу, а Игорек спросил:

– А она что, тоже кусается? Как собака?

– Нет, – ответила я, – но забодать может, она нормально «фас» работает.

– Эх, – Игорек погладил Мурку, охлопал по бокам, – вот кого надо было на этих натравить! И было бы... это... спортивно! Она ж не собака, так, побуцала бы их под жопы... и нам бы полегче было справиться.

– Нет, – подумав, возразила я, – ничего не вышло бы. Мишенька тоже бы на «фас» полез, ему только повод дай... Надо ей другую, что ли, команду придумать? Но переучивать тяжело...

Мы спустились к реке, умылись, а потом Игорек учил меня делать подножки, а я его – выкручиваться из захватов. В сумерках я засобиралась домой.

– Слушай, Дзыга, тут такое дело, – сказала я, – меня накажут за фингал, не будут со двора пускать три дня. Так всегда...

– Так я к тебе сам приду, – перебил меня Игорек.

– Да я об этом же. Не надо приходить. Если Зося увидит, что ты тоже битый, она еще запретит мне с тобой водиться.

– И ты не будешь? – Мальчик опустил глаза.

– Вот ты глупый! Буду, конечно, то-то и оно. Только это же врать придется или ругаться все время – Зося знаешь какая упертая? А нам это надо?

– Ладно, – нехотя согласился Игорек, – я тогда буду там поблизости кружлять, ты хоть выглядывай...

– Не надо, – вздохнув, попросила я, – ты вообще там не отсвечивай, потерпи. Для маскировки, как индеец... Идет?

Мальчик кивнул, мы пожали друг другу руки, и я побежала домой.

Предчувствия меня не обманули, да еще Зося была в голосе и закатила целый скандал, назвала меня холерой, а папу, который попробовал за меня вступиться, прогнала из кухни полотенцем.

– Да что ж это такое! – Я давилась супом, а Зося ходила вокруг, охлестывая себя боевым полотенцем от злости, как кошка – хвостом. – Да как же тебе не стыдно драться! Девочки не дерутся!

– Зося, что ты ерунду говоришь, как же не дерутся? Я – девочка, и я дерусь, разве не так? – назидательно отвечала я.

– Езуит!!! – Зося, в сердцах швырнув полотенце на стол, разъяренной слонихой утопала ябедничать отцу и требовать дополнительных мер воздействия на совсем отбившуюся от рук меня.

Но утром все наладилось. Меня никогда не наказывали работой, поэтому я очень любила помогать Зосе по хозяйству. Я покормила кур и собак, подмела двор, помыла пол в коридоре и вообще была такой лапочкой, что Зося смягчилась и позволила мне не обедать.

– Иди уже сюда, Попелюшка, иди, котлетку на, – добродушно позвала она меня. – Иди, посиди со мной.

Я не любила есть вообще. Думаю, если бы меня не кормили принудительно или хитростью, то я бы тихо и незаметно, как бабочка-однодневка, умерла от слабости. Даже после целого дня беготни я смотрела на еду с отвращением. Из всей пищи в мире я охотно пожирала только яблоки и котлеты, и бедная Зося наловчилась готовить эти котлеты из всего – даже из яблок.

Мы сидели на кухне у растворенного окна и придумывали, что еще будем делать днем. Летний ветерок обдувал мою побитую морду, котлеты были вкусными, а Зося была моя красавица – все было хорошо то есть. Но, угрызая котлетку, я чувствовала, что какая-то непонятная тоска угрызает меня.

Не с чего было тосковать на самом деле. Я очень любила эти «аресты», у маленьких детей ведь нет выходных, понимаете? Все время приходится заниматься своими детскими делами, никакого покоя. А дома было хорошо – можно спокойно почитать на дереве, или научиться у Зоси пришивать пуговицы, или научить Мурку новым трюкам. Мне очень нравилось ухаживать за животными, нравилось то, как разномастные собаки таскаются за мной маленьким отрядом, во все суют свои пуговичные носы – строго проверяют, а чем это я кормлю гусей? И куда это я пошла? И что это у меня в руках?

Мне нравилось чистить папиных гончих – и то, как они жмурятся от удовольствия и как дробно стучат задней лапой об пол (типа, это я сам так здорово чешусь, а вы, девушка, со щеткой со своей – нелепая случайность в моей жизни).

Мне нравилось сгребать навоз в конюшне (ну, извините), а потом рассыпать солому по чистому, мыть бабки лошадям, гладить их мягкие, замшевые морды, похожие на... э-э-э... гусары, молчать.

Я вообще удивляюсь – как я не провела с ними всю жизнь? Нет, не с гусарами – с животными. Я была совершенно, безоблачно счастлива – на скотном дворе, на конюшне, на псарне и тогда, и позже. Каким же ветром в голове меня вынесло оттуда?

Но в тот день нигде мне не было места – не сиделось, не читалось и не возилось. Даже Зося спросила, что это со мной, а я, мрачно буркнув: «Хочу на волю», утащила за дом.

Там росла старая яблоня (мой личный кабинет).

Я взобралась на самую верхушку дерева, оставив внизу свернувшихся крендельками псов, и стала оглядывать окрестности. Был полдень, деревня словно вымерла, а мне вдруг сделалось грустно, оттого что Игорек послушал меня и не «кружлял поблизости».

Я скучала по нему.

Раньше я не умела скучать – даже если папа или мама уезжали надолго, я просто ждала их возвращения. Само собой, мне было грустно, но это ничуть не мешало заниматься своими делами. Папа и мама – они же были всегда и будут всегда, это понятно, а тут – ерунда какая-то.

Я полезла вниз, думая с досадой о том, что это же очень неудобно – так прикипеть к какому-то человеку, чтобы не уметь без него прожить и дня. Да и с чего бы вдруг? Ведь жила я без этого самого Игорька целых пять лет и чувствовала себя прекрасно. Я даже на него рассердилась. «Подумаешь, – бухтела я себе под нос, – Игорек какой-то! Вот привязался!»

Хотя это было глупо, ведь он ни разу не привязался, а вовсе и наоборот.

Глава 5

Война с деревенскими продолжалась почти все лето. Битвы случались, конечно, не каждый день, но временами нам с Игорьком крепко доставалось. Мы старательно осваивали народное боевое искусство, но учиться толком было не у кого – папа Игорька, дядя Боря, был мужчиной высоким и сильным, и ему в свое время приходилось следить скорее за тем, как бы кого не убить, поэтому никаких особых приемов он не знал. А к своему папе с подобными вопросами я приставать опасалась – меня и так ругали за постоянные драки.

Следуя привычке искать любую нужную информацию в книжках, я перекопала всю домашнюю библиотеку, но тщетно. Если бы дело было в начале девяностых, мне наверняка попала бы какая-нибудь скверно отпечатанная книжонка «Воин Шао-Дао», но в то время – увы – ничего подобного не было.

Правда, античная история подсказала мне один стратегический ход, и как-то раз мы здорово навешали вражеской группировке, заманив мальчишек притворным побегом на узкий железный мостик, перекинутый через Пояйлу.

Кроме нас, никто из детей не уделял столь пристального внимания военной подготовке – им и так неплохо было, – поэтому первым сунувшимся мы моментально и жестоко набили морды, битые пытались отползти, небитые напирали, в рядах противника воцарились замешательство и ужас, и он (противник, а не ужас) был обращен в бегство (впервые за три месяца).

Игорек ликовал и даже исполнил прямо тут, на бережочке, победный танец Белого Орла (мы считали себя коварными и безжалостными ирокезами, извините), но я заскучала.

– Надо это прекращать. – Я задумчиво грызла травинку, глядя на реку. – Надо придумать какой-то ход. Меня скоро вообще из дому перестанут выпускать за битую морду.

– А что ты тут придумаешь? – пожал плечами Игорек. – Я же не перестану быть цыганом по-любому...

– Но может, они перестанут быть придурками?

– Не перестанут, так и знай. Но как мы их сегодня, а? Попомнят теперь! Трепещите, враги, я – страшный ирокезский вождь Быстроногий Хорек!

Мальчик скакал вокруг меня, принимая воинственные позы и молотя кулаками воздух. Вообще-то это я придумала дразнить его Хорек-Игорек, за ловкость и кровожадность, но сейчас рассмеялась:

– Где ты видел быстроногих хорьков? У них же совсем малюсенькие лапки! Пусть уж тогда «безжалостный»...

– Не, «визжалостный» мне не нравится, лучше – «непобедимый». Да, Непобедимый Хорек! – Игорек нахмурил брови и сморщил нос, чтобы выглядеть пострашнее, но мордочка получилась такой забавной, что я повалилась от смеха на песок.

– Ладно-ладно, смейся, – мальчик старался сохранить суровый вид, – мы все равно великие воины и победили этих трусливых койотов, а если полезут еще, то в следующий раз им придется и похуже...

Но в следующий раз все было иначе.

Почти на окраине деревни был пруд, в отличие от речки – довольно глубокий, поэтому детям нашего возраста ходить к нему запрещали, но все, разумеется, потихоньку бегали.

Мы играли в загадки, сидя на берегу пруда и пуляясь камешками в воду. Игорек знал сотни загадок, просто неисчерпаемое количество (у мальчика была феноменальная память), и я почти все отгадывала, кроме самых смешных (ну правда, мне до сих пор кажется, что «сидить дід за подушками і стріляє галушками»[1] – это очень смешно, а отгадка скучная и все портит), поэтому хитрый мальчишка нарочно вспоминал загадки посмешнее.

Хотя в тот раз я спеклась на совсем обычной – про коноплю.

Игорек только успел сказать:

– Били мене, били, на шматочки порвали, у воді мочили, по траві валяли... – а я уже смеялась и показывала на него пальцем:

– Я знаю, знаю! Это ты, Дзыга!

– Чего ты, не дослушала даже, – начал было обиженно Игорь, но потом до него дошло, и он сам рассмеялся.

Мы валялись в песке, хохотали и кидались друг в друга какими-то щепками, но тут Мишенька вскочил и заворчал. Я оглянулась и увидела, что по дороге, поднимая клубы пыли, двигается толпа деревенских мальчишек. Небо было ясным, светило солнце, но мне стало тревожно, как перед грозой. Казалось, что единственное грозовое облако спустилось с неба и ползет теперь к нам – прямо по земле. Мальчишки как будто услышали мои мысли (а может, просто увидели нас) и что-то угрожающе заорали.

Мы встали. Игорь взял меня за руку.

– Что будем делать? – спросила я, не отрывая взгляда от дороги.

– Пойдем подальше от воды.

Мы отошли от пруда к дереву, под которым паслась Мурка, и вдруг Игорек сказал:

– Глория... ты, это... иди отсюда. Уходи, они тебя не тронут, они по меня идут... А я тут сам. Ты иди.

И тогда я впервые услышала это свое «дзень» – как будто в груди взорвался маленький хрустальный шарик с ментолом, стало холодно, и бесстрашно, и безрадостно. Я еще не знала, что так будет всегда, если понадобится принять неправильное решение, от которого невозможно отказаться.

– Ты что, совсем? – Я покрутила пальцем у виска. – Мы же друзья навеки, куда я от тебя пойду?

Обычно любую драку мы начинали весело, с индейскими воплями и насмешками над нападавшими, мы научились видеть друг друга и «работать» вместе – сталкивать мальчишек лбами, бросаться им под ноги, принимать «пас». Это было как танец или как двойное жонглирование крупными и сопротивляющимися предметами. Мы не боялись.

Однако в тот раз Игорь просто кивнул, не глядя на меня. Он стоял спокойно, но плечи у него были опущены и руки повисли как-то бессильно – словно он сомневался, что они ему пригодятся.

Мне захотелось его развеселить.

– Хорошо, что синяки еще с того раза не прошли, – сказала я, легонько толкнув Игорька локтем, чтобы он на меня посмотрел, – дома не так влетит.

– Точно. – Он все-таки улыбнулся. – Ладно. Пусть эти гады ближе подойдут, а там решим...

Но гады не спешили подходить поближе. Они остановились метрах в двух от нас, перестали орать, просто стояли молча. Мы тоже не двигались.

– Боятся подойти, – злорадно шепнул мне Игорек.

Оно, конечно, может, так и было. Но дело в том, что подходить они и не собирались. Есть одно старое, проверенное средство, вполне подходящее для таких случаев, описанное во множестве книг, в том числе и в Библии. Называется «побивание камнями».

Никто так ничего и не сказал, мальчишки даже не стали нагибаться за камнями, хотя вокруг было их довольно – крупных, круглых, с кулак младенца. Они принесли камни с собой, в руках, в карманах, и стали молча швырять в нас. Мы, честно говоря, не остались в долгу, но их было больше, кто-то подтаскивал боеприпасы, а кто-то только швырялся. Они действовали слаженно, не так, как обычно.

Они стали теснить нас в сторону пустыря, разбитого маленькими мусорными заборчиками на участки, где выращивали кормовую морковь и свеклу. В это время дня там никого не бывало.

Получить камнем в лицо – совсем не то же самое, что кулаком, и мы отступили. Мурка убежала, и я слышала где-то позади ее жалобное блеяние, а Мишенька жался к моим ногам. Он был бродячей собакой, а бывших бродячих собак не бывает. Он очень боялся камней.

– Давай на них! – крикнул Игорек. – Прорвемся!

– Нет! – прокричала я в ответ. – Миша не пойдет! Я не брошу собаку!

Я пыталась прикрыть лицо рукой, мне засветили камнем в локоть, и я зашипела от боли.

Мы отползали, отчаянно отбиваясь, пока не уперлись спинами в один из хлипких заборчиков. Отступить дальше было некуда, но мальчишки так и не подошли, они держались на расстоянии, все швыряя и швыряя камни.

Мишенька ополоумел от страха. Прижав уши, он свернулся криветкой у моих ног и только взвизгивал, когда в него попадал очередной камень. Я пыталась заслонить его, а Игорек старался закрыть меня, но мы оба были такие маленькие и хлипкие, что от этого не было никакой пользы.

Когда мне здорово разбили лоб, а Мишеньке подбили лапу, Игорек вдруг, тоненько зарывчав, обернулся к забору и потащил на себя большую доску. Доска на удивление легко поддавалась, мальчик схватил ее поперек и, пошатываясь и все так же яростно завывая, пробежал под градом летящих камней и врезался в наших обидчиков, повалив их с ног.

Образовалась куча мала, мальчишки стали напозать на Игоря, колотить его. Я увидела, как кто-то заносит над ним так и не брошенный камень, и совсем взбесилась.

– Миша, фас!!! – заорала я. – Мурка, ко мне! Вали их! Вперед пошла!

Мишу не надо было просить дважды – он был злопамятным псом. С рычанием набросился он на мальчишек. Я чуть замешкалась, выдирая из забора здоровый дрын, и побежала следом, но им хватило и собаки.

Пес дорвался. Он метался, как свихнувшийся ребенок в кондитерской лавке – этого схватить, и этого попробовать, и вот этого куснуть. И хотя не было необходимости ему помогать, когда, позвякивая колокольчиком, подтянулся партизанский отряд в лице Мурки, я мстительно указала пальцем на разбегавшихся мальчишек.

Ох не зря, не зря я всегда думала, что слово «злокозненность» – это прямая характеристика коз. Мурка радостно включилась в травлю, и скоро на дороге, кроме нас, никого не осталось.

Игорек так и сидел в пыли, свирепо хохоча и подбадривая криками бесчинствующих животных.

– Ну я вижу, ты живой, – сказала я, протягивая ему руку, чтобы помочь подняться.

– Та живой, что мне сделается... – Игорек мельком мне улыбнулся и снова закричал: – Фас, Мурка, фас, дай ему под жопу!

Я отозвала Мишеньку, стала осматривать его лапу. Перелома не было, просто сильный ушиб. Ничего страшного, в общем, но я обняла пса за шею и горько расплакалась.

– Глория, ты чего? Тебя сильно побили? Где болит, квиточка моя? – засуетился вокруг меня Игорек.

– Гы-ы-ы-ы-ы... Ми-и-и-иша, мой Ми-и-и-иша, – ревела я. – Папа сказал, если Миша кого-то без причины покусает, придут люди и его убьют... Ы-ы-ы-ы-ы... А детские драки – не причина, папа нарочно десять раз мне повторял... Га-а-а-а... Не дам мою собаку убивать... Убегу-у-у-у-у...

– Глория, успокойся... Да успокойся ты, никто твоего собаку не тронет. – Игорь тряс меня за плечи, пока я не заткнулась. – Никто не скажет про Михуила, слышишь? Если они наябедничают про собаку, им придется рассказать про камни. А за это им влетит, ужасно вле-

тит. Потому что кидаться камнями в живых людей – это очень плохо, понимаешь? За это их самих поубивают. Никто не скажет, не реви...

– Думаешь? – Я еще всхлипывала. – А если вдруг?.. Там же видно, что собака покусала...

– Не видно, – терпеливо объяснил Игорек, – мы в них тоже не подушками кидались, там не разберешь, где что... Ну на нас посмотри...

Я послушно посмотрела на Игоря, потом на себя. Мы с ног до головы были покрыты грязью и кровью так, что не было видно даже синяков и ссадин. У Игорька была разорвана рубашка, мое платье превратилось в ржаво-серую тряпку, даже Мурка из белой стала бурой (к счастью, на ней была только чужая кровь).

– Я выгляжу так, как будто меня изнасиловала рота солдат, – сказала я, печально оглядывая испорченное платье.

– А что такое – «изнасиловала»? – с интересом спросил Игорек.

– Не знаю. Только в книжках пишут, что женщины после этого в крови и одежда у них рваная, они кричат и всех проклинают. А мне есть кого проклянуть. – Я вытерла набежавшую со лба кровь и злобно сплюнула.

– Ну, тогда меня тоже изнасиловали. – Игорек показал оторванный с мясом рубашкин рукав.

– Нет, это только женщин. Мужчин обычно сразу убивают. А, еще иногда подвергают пыткам.

– Ладно, – кивнул Игорек, – меня подвергнули пыткам. Пойдем умоемся, а то еще увидит кто – не отбрешемся.

Мы вернулись к пруду и попытались отмыться, но вышло только хуже: ссадины, до того забитые пылью, стали кровоточить. Тогда мы набрали подорожников и облепили ими друг друга, даже Мишеньке я примотала пару на лапу носовым платком. Самые глубокие царапины мы замазывали кашницей из все тех же подорожников, только пережеванных (индейцы же).

– Ты похож на могилу героя, – сказала я Игорьку, сплошь облепленному подорожником.

– На себя посмотри. – Он сплюнул в ладонку зеленую кашницу и размазал мне по лбу.

– Нет, я так домой не пойду. Зося напугается. Где бы платье отстирать?

– Пошли ко мне, – предложил Игорек, – моя мамка привычная...

Но он несколько преувеличивал. Тетя Галя, увидев нас, зажала рукой рот и грузно опустилась на табуретку. А набравшись на табуретке сил, она, похоже, сильно разозлилась.

– Детки... Игореша... Да кто ж это вас так? – Ее голос из жалостливого помалу становился возмущенным. – Да сколько ж можно? Ну все, кончилось мое терпение, я этим байстрюкам ноги повыдергаю, уши пообрываю... Игорь, отвечай, кто вас побил?

– Никто, мамо, мы упали, – тихо ответил Игорек, опустив голову.

– Та какое «упали», га? Или я не вижу, или мне повылазило, или ты думаешь, что мамка у тебя дурная совсем?

Игорь молчал, так и не поднимая головы и сцепив руки за спиной, как партизан на допросе. Я решила вмешаться.

– Тетя Галя, мы правда упали. Мы с горы катились, – сказала я.

– С какой горы вы катились, дурачки? – обернулась ко мне тетя Галя. – Глория, ну как тебе не стыдно?

– С горы. Мы на шине катались.

(Если кто не знает, была такая игра: человек забирался в автомобильную покрывку – дети их называли шинами – и скатывался с холма.)

Тетя Галя всплеснула руками:

– На шине?! Та вы сдурели! Та я вас сама сейчас поубиваю – так быстрее будет, чем ждать, пока вы покалечитесь!

– Мамо, – Игорек перешел к делу, не дожидаясь, пока у тети Гали кончатся патроны красноречия, – вы нам поможете Глориено платье постирать? А то ее Зося из дома больше не отпустит, если увидит...

– И правильно! Пусть дома сидит, раз вы не понимаете, что можно, а что нельзя! Я ее сама сейчас домой отведу и Зосе расскажу, – не унималась тетя Галя.

– Мамо, как же можно, мы же с ней – друзья навеки, как же я буду сам? Без нее? – Игорек посмотрел на тетю Галю так, что она осеклась.

– Ну что с вами делать? Тащите корыто, я воды нагрее, надо вас помыть сначала, а потом с одежей разберемся...

Мы благоразумно не стали распространяться о купании в пруду и выволокли во двор большую оцинкованную лохань. Тетя Галя наносила воды и усадила нас мыться.

– Чем же все это мазать? Кровища так и хлещет, – причитала она, аккуратно обмывая наши ссадины и шишки.

– И ничего не хлещет, мама, что вы, – строго сказал Игорек, отводя ее руку.

– Надо перекисью залить. – Я смотрела на воду, ставшую от крови розовой, как вечернее небо.

– И где ж я ее возьму, ту перекись? – горестно спросила тетя Галя.

– Мамо, где-то папкины аптечки валялись, вы там посмотрите, – сказал Игорек.

– А и правда, пойду поищу. – И тетя Галя, переваливаясь уточкой, направилась в дом.

– Ну ты и брехло! – Игорек, хихикая, лениво брызнул на меня водой. – Надо ж было додуматься – с горы катились...

– Сам брехло. – Я окатила его в ответ. – Ну пойдя, пойдя и скажи, как все по правде было. Ну, чего сидишь?

Но ответить он не успел – вернулась его мама, принесла водительскую аптечку.

– На, посмотри, есть тут перекись твоя? – сунула она ее мне в руки.

Все нашлось – и перекись, и йод, и пластырь, и марлевые салфетки. Тетя Галя вынула нас из воды и занялась декорированием наших тушек. Мы были красавцы – ссадины опухли, синяки налились густым фиолетовым, у Игоря заплыл глаз, а шишка у меня на лбу вела себя как отдельная форма жизни – пульсировала, горела и, кажется, даже шевелилась. Замазав и заклеив всю эту красоту, тетя Галя завернула нас в большие банные полотенца, отнесла в дом, уложила в кровать и ушла «заниматься одежей».

Мы лежали, провалившись в пуховую перину, тихо, как две гусенички. В комнате с белеными стенами пахло чистотой и безмолвием. Мы с Игорем быстро уснули.

Глава 6

Я проснулась, услышав голос дяди Бори, и сразу подумала: раз он дома, значит, очень поздно и мне уже пора бежать.

С трудом выкарабкавшись из кровати, волоча за собой полотенце, как мантию, я прошлепала в соседнюю комнату.

– ... Не можешь ты пацана держать на привязи, он не собака. И не вмешивайся, Галя, нехай сами разбираются, – басил дядя Боря.

– Добрый вечер, – сказала я, шурясь от яркого света. – Тетя Галя, мне домой пора, извините.

– Вот, полюбуйся, – тетя Галя подхватила меня на руки и сунула дяде Боре под самый нос, – посмотри, вся в синяках, вся, как жирафик. – Она выпутала мою руку из полотенца и вытянула во всю длину, как рыбак, хвастающийся уловом.

– Мы больше не будем, – сказала я. – Тетя Галя, мне правда надо идти, а то там Зося волнуется уже, наверное.

– Да что ты к ней прицепилась! Дай уже ребенку одеться, и я ее домой отнесу, а то темнеет, – сказал дядя Боря.

Тетя Галя посмотрела на дядю Борю, как змея перед броском, и понесла меня одеваться.

Одежда моя была сухой и чистой, я поблагодарила тетю Галю, и мы с ней вышли во двор, где меня радостно встретили Мурка и Мишенька.

– Вот, помыла твою козочку. Она ж с вами тоже с горы катилась? И собака твой, я вижу, катился? Лапу вон бережет, – насмешливо сказала тетя Галя.

Мне стало ужасно стыдно, и я сказала «Извините», а тетя Галя ничего не сказала, только посмотрела со значением. А потом дядя Боря понес меня домой.

По дороге я незаметно отодрала пластырь со лба и попыталась прикрыть шишку волосами.

Дядя Боря прошел через двор, и прямо у крыльца мы наткнулись на моего папу.

– Добрый вечер, доктор, – поздоровался с ним дядя Боря, – вот, принес вашу доцю. Они с нашим Игорем дружат, послули у нас днем, только сейчас проснулись, вы уж ее не ругайте...

– Здравствуйте, Борис Георгиевич. – Папа отличался тем, что всегда помнил, как кого зовут – от замурзанного младенца до выжившей из ума старухи. – Спасибо, что вернули мое сокровище, а то мы уже беспокоились. – Он взял меня из рук дяди Бори и добавил: – Извините, что не зову в дом. Я собирался вернуться в больницу – этот ваш Яковенко мрет там из чистого упрямства... А моя жена нездорова...

– Мама заболела? – испуганно воскликнула я.

– Ничего страшного, дружище, все как обычно. – Папа хотел поцеловать меня в лоб и заметил шишку. – Глория, черт тебя подери совсем, маленькая бестия! Ты опять подралась?

– Та ничего страшного, Генрих Васильевич, они ж дети... Мой тоже вон с фингалом ходит... Не надо, не ругайтесь, – сказал дядя Боря.

– Да уж... Бойцы невидимого фронта, – проворчал папа, а мне пригрозил: – Вот посажу тебя в замок под замбк, как принцессу, будешь знать!

– Папа, пойдем же скорее к маме, – тормошила я его.

– Ну, всего хорошего, доктор, меня там Галя моя заждалась. – Дядя Боря направился к воротам, но папа остановил его:

– Подождите, Борис Георгиевич, вас псы не выпустят. Мы вас проводим. Вы заходите к нам в гости, с женой заходите, мы будем рады, – говорил папа дяде Боре по дороге.

Они простились у ворот, и папа отнес меня в дом.

Зося хотела забрать меня у папы, но он не отдал.

– Подожди, Зофия, мне надо ее посмотреть. По-моему, у нее лоб разбит, – сказал он и посадил меня на кухонный стол. – Н-да. Придется шить. Зося, я заберу ее с собой, переночуем в больнице – мне некогда будет возвращаться.

– Так давай я за ней приду, ты только скажи – когда?

– Нет, не надо Аню одну оставлять, побудь с ней.

– А покормить? Она ж голодная целый день, – засуетилась Зося и стала собирать какую-то снедь в узелок.

– Зося, оставь, я найду, чем ее покормить, – ответил папа и шагнул за порог.

Папа шагал широко, и я, сидя у него на руках и глядя на звезды, представляла себя бедуином, едущим на верблюде по пустыне. Мне было грустно.

– Папа, – помолчав, спросила я, – а наша мама не умрет?

– Когда-нибудь – определенно, – ответил папа, – но не сейчас. Не волнуйся, дружище. Вот отвезем ее в санаторий, подлечим, и все наладится.

Я скорее почувствовала, чем увидела, что он ободряюще улыбнулся мне в темноте, и прижалась к нему покрепче.

– Папа, ты опять увезешь ее в эту Евпаторию? Надолго-надолго?

– Ну, что делать, маленький, сердечко у нее слабое, надо лечить.

Мама была серьезно больна, болезнь почему-то называлась «порок сердца», как будто оно, сердце, было в чем-то виновато. Она никогда не была особенно здоровой, а после того как родилась я, ей стало гораздо хуже. Минимум четыре месяца в году она проводила вне дома, и, когда я была маленькой, мне казалось, что Евпатория – это что-то вроде Авалона, откуда приходится подолгу ждать героев.

Конечно, маму лечили, и папа, как говорила Зося, «старался создать ей условия», но они были слишком молоды, понимаете, и очень любили свою работу.

В отличие от папы с его «военной» специализацией, мама была мирным отоларингологом (я, кстати, думала в детстве, что Отто Ларинголог – старинное немецкое имя, и папа придумал мне целую сказку о храбром ландскнехте Отто Ларингологе), но, кроме того, у нее была редкая способность ставить точный диагноз практически в любой области, и папа, да и другие врачи часто звали ее на консультации. «Блестящий диагност, – говорил папа, – ты как сквозь стену видишь!» А мама отшучивалась: «Высоко сажу, далеко гляжу! Смотри у меня...»

А еще маму очень любили больные (то есть здоровые ее тоже любили, но сейчас это к делу не относится), она была красивой, и доброй, и внимательной, поэтому часто оставалась с папиными «тяжелыми» после операций. Он сердито говорил ей: «Ты должна была стать медсестрой! Такие, как ты, – на вес золота!» А мама тогда показывала ему неприличный жест – нет, не этот принятый нынче худосочный «фак», а добротного русского «хрена» с локтя.

Но она была хорошей женой (насколько я могу судить об этом, я же не мужчина) и всегда помогала папе, если тот просил. И вот, просидев с этим самым сволочным Яковенкой двое суток, мама опять слегла.

Разумеется, мои родители не были св. Франциском со св. Терезой. Да, много времени они проводили на работе, но и развлечься тоже любили. С ними вместе в деревню приехали несколько молодых врачей, они устраивали вечеринки, и пикники, и танцы. Мама очень любила танцевать – но ей и этого было нельзя. И много смеяться тоже нельзя, но она все равно смеялась и танцевала.

Они с папой оба были насмешниками и устраивали дома настоящие словесные поединки. Мама всегда побеждала, она была язвительнее и соображала быстрее. Папе было и смешно, и обидно, и тогда, чтобы отомстить маме, он сажал ее, тоже хохочущую, на шкаф.

Не всегда все было так мило и благолепно – если папа попадался на очередной измене, поединки эти выглядели совсем иначе. Мама была гордой польской женщиной, папины измены оскорбляли ее, а словами она умела не только утешать, но и жестоко ранить. Иногда мама

допекала папу до того, что он ревел, как раненый кабан, круша мебель в доме (однажды даже пробил кулаком дубовую дверь), а мама, маленькая и бесстрашная, стояла прямо посреди этого урагана и выкрикивала: «Негодяй, бесчестный негодяй!»

Они были очень смешные, оба. Очень смешные – изводили друг друга, пугали и отказывались быть благоразумными – каждый в своем.

Если маме становилось совсем плохо и папа пытался уложить ее в постель (без всякого эротического подтекста), она говорила ему: «Генрих, ты же врач! Ты же знаешь, что с таким диагнозом мне вредно все, мне вредно жить, так что же мне теперь – не жить? Пусть уж как Бог даст... Или ты хочешь, чтобы я сидела здесь, среди подушек и микстур? И прожила так до семидесяти лет?» И папа всегда отвечал: «Хочу», – и целовал ей руки. Он боялся за нее. Так же как она за него, когда он проигрывался в прах или к нему приезжала очередная проверка из района.

Они были такой классической парой – барышня и хулиган, плохо понимали друг друга, но очень любили. И всегда шутили – даже когда мама не могла подняться и лежала бледная, с темными кругами под глазами (и все равно – такая красивая), папа дразнил ее «дама с карамелиями», а она его – «звезда анатомического театра».

Но между тем мы дошли до больницы и поднялись на второй этаж.

Папенька разбудил ночную медсестру Валечку, сказав ей змеиным голосом: «Будешь спать на работе – уволю на х...», – и прошел к себе в кабинет.

Валечка семенила следом, похожая на персикового кролика – такая белая с розовым, чуть припухшая со сна, с вздернутым носиком и беззащитным взглядом.

Сразу по поводу мата. Долгое время я была уверена, что мат – это специальный медицинский язык, вроде латыни.

Мой галантный и вежливый папа в операционной и окрестностях позволял себе такие импровизации, каких я не слышала потом даже от конюхов и монтировщиков (а они, уж поверьте, признанные мастера).

Я сама не сквернословила до восьми лет – поскольку папенька мой имел привычку отвечать на любые вопросы, а не отмахиваться этими «тебе еще рано» и «я сказал, и все», он объяснил мне, что это за слова и когда их имеет смысл произносить, а когда стоит воздержаться. Ну и до восьми лет у меня просто не было хорошего повода.

Папа усадил меня на кушетку и осмотрел.

– Так. Голова, и плечо, и на ноге... Валя, обработай ей рану на лбу и подготовь все, будем шить.

Валя загремела железками, а папа пошел переодеваться и мыть руки. Вернувшись, он задумчиво сказал:

– Новокаин? Убери. Не пригодится, будем так.

(Увы, местный меня не берет, даже аппендикс выковыривали под общим.)

Все было готово, но папа почему-то мешкал, все ходил и ходил по кабинету.

Наконец он подошел к Валечке и сказал деловым голосом:

– Валя... Дай-ка мне по морде.

– Что?! – Валя вытаращила глаза.

– Ты слышала – что, копытом в голову е...ть! – заорал отец. – У меня, б... руки гуляют! Я родного ребенка шить на живую буду! Делай, что сказано, кобыла тупая, ну!!!

Валечка хныкнула, дернула носом со страху и залепила папе оплеуху – одну, потом другую.

Он помотал головой, потом встряхнулся, как пес после купания, и добродушно загудел:

– Ну-ну-ну... Вот и молодец... Вот и хорошо... Ну прости, ангел мой, ты же меня знаешь... Ты какие конфетки любишь? «Птичье молоко»? Ну, с меня конфетки... за хамство...

Давай, давай, давай, не стой, работать пошли. – Он потрепал вправшую в анабиоз Валечку по щеке и подошел ко мне: – Не боишься? Готова?

– Нет, папа. Да, папа. – Я вцепилась в кушетку.

Он постоял еще рядом, потом вздохнул, велел Вале принести стул, посадил меня к себе на колени. Так и штопал – как носок.

Было не очень больно, только игла противно скрипела, прокалывая кожу, да папино успокаивающее бормотание рассыпалось звоном в ушах.

– Папа, замолчи, – попросила я, – так еще хуже.

Кончив дело, он снова посадил меня на кушетку.

– Ты как? – Папа обеспокоенно заглянул мне в лицо. – Водички хочешь?

– Полет проходит нормально, – сказала я и криво улыбнулась.

– Передохнешь или дальше?

– Давай дальше.

Папа кивнул и подозвал Валю.

– Так, колено – бесполезно, повязку наложишь, – говорил он ей, – а здесь... даже не знаю.

Видишь, если тут стянуть, соседняя раскрывается...

– А если скобки, Генрих Васильевич? – робко спросила Валечка.

– А что? Хорошо! Молодец! Тащи скобки, – расцвел улыбкой папенька, а у Вали сделалось такое лицо, как будто она виляет хвостом.

Потом зашивали плечо, и это было совсем худо, мне пришлось держать в зубах салфетку. Но все хорошее когда-нибудь кончается, меня доштопали, перевязали и поставили на ноги.

Я чувствовала себя новеньким Франкенштейном – где-то тянуло, где-то ныло, но в целом было неплохо. Я так и сказала:

– В целом неплохо. Ты молодец, папа.

Папа расхохотался, откинув голову.

– Ты тоже молодец, дочь, – похвалил он меня, а потом совсем серьезно сказал: – Теперь послушай меня внимательно. Мне очень не понравилось это делать, – и он легонько постучал пальцем по моему забинтованному лбу, – и я хочу знать, что с тобой произошло...

Но в эту минуту в кабинет ворвалась нянечка и произнесла волшебное слово «Яковенко».

– Валя, дашь ей сладкого чаю, пирожок – и спать в третью, там никого. Справишься – быстро ко мне, – отрывисто приказал папа, послал мне воздушный поцелуй, погрозил кулаком и убежал к Яковенке.

Кулак относился к пирожку. Мне совсем не хотелось есть и спать, но я не должна была подавать Вале дурной пример (папа объяснил мне про свою работу, что главврач – как генерал, а остальные врачи – как солдаты и всегда должны его слушаться, поэтому не надо создавать прецеденты), и я терпеливо ждала, пока закипит маленький чайник на электроплитке.

После того как папа вышел, Валя сменила повадку. Нагло уселась в его кресло и молча наблюдала за мной с несколько неприязненной улыбкой. Я не очень-то любила, когда на меня так смотрят, поэтому сказала:

– Валя, спасибо вам большое, но вы можете просто налить мне чаю и идти к папе. Ему ведь нужна помощь, да? А я тут справлюсь, вы не беспокойтесь, я поем сама, и где третья палата, я знаю.

– Какой-то ты ненастоящий ребенок, – протянула Валя, насмешливо прищурившись, – какой-то не такой... Не плачешь, не капризничаешь, разговариваешь как взрослая...

– Мне агукнуть? – огрызнулась я. – Я самый настоящий ребенок. Не могу приготовить себе чаю – мне запрещают включать электроплиту и газ и поднимать чайник, полный кипятка. Но я – не слабоумная, поесть и найти кровать я сумею. А вам я от всей души советую поторопиться и не злить моего отца. У него дурной нрав, вы уже знаете, да?

Мы минутку смотрели друг на друга в упор, потом Валя неохотно поднялась, налила мне чаю, грохнула подстаканником об стол и выплыла из кабинета, задрав свой кроличий нос.

Вот надо же, чтобы в один день, думала я, и мама заболела, и эти уроды с камнями... И эта еще привязалась – «ненастоящий ребенок», – вот дура. И с папой еще объясняться как-то надо, а врать ему я не умела.

Я с остервенением пыталась победить гадский пирожок, подбадривая себя туманным: «Кровопотеря... надо сладкое...», – и думала о том, что бывали деньки и получше.

Глава 7

Утром я бежала – нет, лучше сказать, торопилась на встречу с Игорьком. Бежать в сопровождении козы затруднительно, поскольку у козы, в отличие от собаки, любовь к человеку – вовсе не основной интерес в жизни. Мурка все время останавливалась, чтобы перехватить какого-никакого листика, и мне пришлось велеть ей идти рядом. Я перешла с мелкой рыси на быстрый шаг, чтобы козе было комфортнее.

Игорек сидел на мостике, свесив ноги, и плевал в воду. Мы с ним жили по разные стороны реки, поэтому встречались и расставались всегда здесь – у железного моста через Пояйлу.

Увидев меня, он побежал навстречу, подхватив удочку и маленькое ведерко.

– А я уже и ждать перестал, думал, тебя опять заарестовали. Думал, вот посижу еще пять минут и пойду...

– Ага, я бежала... Ну, почти бежала... Дай я на тебя посмотрю, а то у меня – вот, вчера папа зашивал рану. Может, и тебя надо зашивать. – Я тщательно осмотрела Игорька, но его шкура оказалась крепче моей – были ссадины, но неглубокие.

– Больно было? – ужаснулся Игорек. – Как же тебя выпустили?

– Не, не очень, – ответила я. – Мама заболела, поэтому и выпустили. Чтобы я не крутилась у нее на глазах, ей волноваться нельзя. Но Зося утром мне всю голову прогрызла за драки... И папа еще... Мне пришлось пообещать, что такого больше не будет...

– Это ж с какого перепугу – «не будет»? – удивился Игорек. Он знал, что к обещаниям я отношусь серьезно – как настоящий индеец.

– Дзыга, я тут придумала одну речь, – вздохнула я, – одну правильную речь, не очень хорошую, но правильную. Мне надо ее сказать этим жабам...

– Вот же ты гусыня иногда бываешь, Глория, я прямо удивляюсь, – насмешливо фыркнул Игорек. – Ну кто будет слушать твои разговоры? Ты сколько раз пробовала? Сто?

– Пусть будет сто первый, – упрямо ответила я. – Только вот где бы их сейчас найти? Где они могут быть, ты как думаешь? Надо сказать, пока я злая еще. Такие вещи надо говорить со зла...

– Так пойдем на вчерашнее место. Они обязательно туда припрутся, вот увидишь.

– Зачем? – удивилась я.

– Не знаю, – пожал плечами Игорек, – но я бы приперся, если бы так же кому-то навалял... А они нам вчера наваляли – если бы не собака, совсем бы забили. Кстати, за собакой никто не приходил с утра?

– Нет, – ответила я, – видно, ты все правильно придумал, никто не наябедничал на Мишу.

– Вот видишь, – загордился Игорек, – и сегодня все так и будет. Пойдем рыбки половим, мне татко вон удочку подарил, я уже и червей нарыл с утра, смотри, какие жирные. – И мальчик с нежностью пошевелил пальцем влажную землю в банке.

Я полюбовалась червями и поставила банку обратно в ведерко.

– Так рыба ж водится только в пруду, тебе от мамы влетит, разве нет?

– Мамка разрешила, только купаться не велела, – сказал Игорек, – а мне вперлось это купание, раз удочка есть? Пошли уже, пока солнце не вылезло.

И мы пошли. Место, на котором состоялась вчерашняя битва, было открытое, песчаный пляж с ивой и кустами чуть подальше, сюда все приходили купаться.

– А разве здесь клюет? – усомнилась я.

– Ну, посидим здесь до полудня, подождем... Если эти не прилезут, пойдем на мостки, подальше. Хочешь первая поудить? – Игорек великодушно протянул мне удочку.

Я отказалась и, так как купаться мне тоже было нельзя из-за швов, растянулась с книжкой на песочке.

– Почитаешь мне? – спросил Игорек, но я сварливо ответила:

– Рыбаки не отвлекаются. Следи за поплавком давай.

Игорек ленился учиться читать. Сколько раз я пробовала его научить – всегда заканчивалось тем, что ему надоело, он захлопывал книгу и говорил: «Да в школе научусь! А ты мне сама пока почитай, раз умеешь!»

Вот я и сердилась.

Так мы просидели довольно долго, Игорь даже наловил какой-то плотвы, а я читала «Похитителей бриллиантов». Я уж думала, что Игорек ошибся и никто не придет, решила дочитать главу и предложить ему убраться отсюда – мы сидели на самом солнцепеке, – но не успела я прочесть о вкусовых достоинствах маленького слона, как залаял Миша. Я посмотрела на дорогу, и мне стало смешно – все было в точности как вчера: поднимая пыль, к нам приближались мальчишки.

– Какой же ты все-таки умный, Дзыга, – сказала я скорее задумчиво, чем удивленно. – Как у тебя выходит все знать наперед? Вот у меня не получается быть такой умной. . .

– Это потому, что ты все время читаешь эти свои книжки. У тебя голова забита постоянно. А у меня – свободна, вот я ею и думаю! – снисходительно объяснил Игорек, а потом стал звать козу: – Мурочка! А иди ко мне, моя золотая, иди, на яблучко. – Он скормил козе яблоко и стал чесать ей шею. – Ты ж моя умница! Вот кто молодец, как ты их вчера отделала! Так и надо, сегодня еще получают на орехи! Мой папка всегда говорит: меньше разговоров – больше дела, – с намеком добавил Игорь.

– Ладно тебе, пять минут, – сказала я, – если не получится, то и подеремся.

– Та как хочешь, мы не гордые – подождем. Да, Мурочка? Ты тогда собаку держи, мы с Муркой на них вдарим, если полезут, а ты Мишу в сторону отведешь, раз ему биться нельзя, и тоже подтягивайся. – Похоже, Игорек не очень-то верил в успех переговоров.

Мальчишки за это время подошли и сразу стали задирается.

– О-о-о, кого я вижу, – запел Богдан; он был самым старшим, в этом году должен был пойти в школу. – Вы разве не поняли, что это наше место? Еще раз объяснить? Так мы – всегда пожалуйста. – Он сделал вид, что поднимает с земли камень, Миша присел на задние лапы и злобно, истерично зарычал.

– Что, боишься, паскуда? – посмеиваясь, спросил Богдан у пса, но остальные мальчишки подались назад.

– Ничего, сейчас ты у меня забоишься. – Я положила руку собаке на загривок и обратилась к деревенским, стараясь говорить как можно более мерзким голосом: – Значит, так. Слушайте все сюда. Вы мне надоели, понятно? Если кто-нибудь сейчас бросит хоть малюсенький камушек или вы еще раз полезете бить нас всей толпой – я спущу собаку. А когда мой Мишенька всех вас как следует покусает, я пойду к отцу и все ему расскажу. И про камни, и про все, понятно вам?

– Ой, та не бреши, – махнул рукой Богдан, – та, пацаны, чего вы напугались? Когда она ябедничала? Глория, я тебя уже сколько знаю, и ни разу такого не было. Не верьте ей, она так, пугает. . .

– Прекрасно ты мне поверишь, дорогой Богданчик, – продолжала я, входя в роль ябеды, – когда твой папочка тебя ремнем отлупит! А он отлупит – кидаться камнями в живых людей – это очень плохо, – повторила я вчерашний аргумент Игорька (сам Игорек сидел, обнимая Мурку за шею, и, казалось, совсем меня не слушал – ждал удобного момента для атаки).

– Глория, та ты сдурела, – все еще не верил мне Богдан, – та ты шо? Если ты наябедничаешь, тебе ж никто слова больше не скажет. . . Никто на тебя и не посмотрит, все будут на тебя только плевать. . . С ябедами ж никто не дружит. . .

– А была мне охота с вами дружить! С вами, вонючими угнетателями народов. – Я презрительно сплюнула.

– Чего? Какие еще угнетатели? Она чего сказала, ты понял? – ошарашенно спросил Богдан у стоявшего рядом мальчишки. Тот только развел руками.

– Фашисты – вот какие. – Я наконец могла показать всю свою злость. – Ты, Богданчик, фашист и трусливая плесень! Только фашисты бьют людей за то, что они цыгане. Или евреи, – для убедительности добавила я. – И ты, Богданчик, – первый фашист!

– Что-о-о-о? Да я тебя сейчас урою, гнида! – взвыл Богдан и кинулся было ко мне, но я сказала собаке:

– Миша, улыбнись гостям, – и пес заступил ему дорогу, молча оскалив страшные клыки. Ну, был у нас такой фокус. «Улыбнись», «скажи» и «не может быть». Почти все мои собаки знали это – публике нравится.

Богдан остановился, набычившись, глядя на меня с ненавистью. Фашист – это было самое страшное оскорбление у нас тогда.

– Давай, урой меня, гнида, – предложила я ему ехидно, – попробуй. Миша со вчера по твоей жопе скучает. Вкусная у Богданчика жопа, скажи, Мишенька?

– Гуфф! – с готовностью ответил пес, и среди мальчишек послышались сдержанные смешки. Богдан понял, что теряет аудиторию, и постарался повернуть дело:

– А без собаки ссышь, да, Глориечка?

– Богдан, – скучающим голосом заговорила я, – ты и дружки твои – вонючие фашистские морды, и руки марать я об вас больше не буду. Для вас у меня теперь только один разговор: сначала собачьи зубы, потом рассказ папе. Я все сказала. Хау. – Мне показалось, что так, поиндейски, будет солиднее.

– Ну и ладно, и тьфу на вас, – обиделся Богдан, – и мы об вас руки тоже марать не будем, об ябед. Никто дружить с вами не станет, так и знайте. А мы, между прочим, может, мириться шли, – вдруг запальчиво добавил он, – и били его не за то, что он цыган... а потому... потому, что проверить хотели... на крепость, вот! А теперь – идите в жопу, мы с вами не дружим навсегда! Пошли от них, пацаны, от этих ябедливых вонючек!

Богдан повернулся и пошел обратно к деревне, мальчишки, оглядываясь, потянулись за ним.

Я стояла и смотрела им вслед. Честно говоря, я боялась обернуться и взглянуть на Игоря, поскольку сама себе не так уж нравилась в тот момент и не считала свой поступок хорошим. Но ничего лучше я не придумала, а утренний разговор с папой был очень тяжелым. Сначала он задавал всякие неудобные вопросы, а я отмалчивалась – врать ему не хотела и правды сказать не могла. Потом папа сказал, что все понимает и уважает детский кодекс чести, но я тоже должна понять: он не может позволить каким-то подонкам меня убить. А я пообещала, что ничего подобного больше не будет. Поэтому вот – я придумала этот план, и он, похоже, сработал. Но выглядело это все, по-моему, довольно скверно, и смотреть на Игорька мне было стыдно.

– Ну ты дае-о-ошь! – Игорек сам обошел меня и теперь смотрел с улыбкой. – Ну ты и вредная... Это же надо, такая вредная, а я и не знал... Как баба, точно, самая настоящая баба, как моя мамка. – И он тихонько рассмеялся.

– Дружить не будешь? – обреченно спросила я.

– Ты что, совсем? – Игорек покрутил пальцем у виска. – Мы ж друзья навеки, куда я от тебя пойду? А ты взаправду собиралась на них наябедничать?

– Нет, – мне все еще было неловко, – это называется «блеф». Прочитала в одной книжке...

– Та «брехня» это называется, – уже откровенно заржал Игорек. – А эти дурни и поверили... Вот же каличные... А ты – самое хитрое брехло из всех, кого я знаю.

– Дружить не будешь? – снова спросила я. Его слова слабо напоминали похвалу, и я решила уточнить. Так, на всякий случай.

– Глория, – Игорек подошел и неловко обнял меня за шею, – я всегда буду с тобой дружить, бо ты – моя зирочка, и я тебя люблю. И дружить с тобою буду всегда, хоть ты что хочешь делай, хоть говно ешь – все равно буду. А когда мы вырастем, то я на тебе поженюсь, от так.

– Правда? – спросила я, а Игорек кивнул. – А если я не буду говно есть – все равно поженюсь?

Тут мы уже вместе заржали, и Миша тоже обрадовался, стал на нас прыгать и повалил на песок. Поборовшись с собакой, пока не надоело, мы стали по очереди бросать палку в воду, Мишенька ее приносил, а мы просто болтали.

– Ты не печалься, что их надурила, – утешал меня умница Игорек, – то ж была военная хитрость. Не зря мы ирокезы – самые бессовестные и безжалостные воины, да? И не зря нас называют «настоящие гадюки», мы – самые хитрые и самые быстрые...

– Это да, – сказала я, – только, Игорь... С нами теперь и правда никто дружить не будет. Вообще никогда. Ябед нигде не любят...

– И-и-и-и-и, – махнул рукой Игорек, прямо как тетя Галя, – увидишь, еще теперь мириться прилезут. Ты это здорово придумала – про фашистов. И как я сам не дотумкал? Кому ж охота фашистом быть? А никому... Попомни мои слова – придут...

Игорь как в воду глядел.

Уже в следующие выходные, когда мы пришли в клуб смотреть кино про Митю Гайкина^[2], кто-то из детей закричал со второго ряда: «Глория, Глория! А идите к нам, мы тут место держим!»

Я опешила, но Игорек, самодовольно шепнув мне: «Видишь, я же говорил», схватил меня за руку и потащил, куда звали.

Мы втиснулись на гладкую лавку, забитую детишками, и к нам сразу потянулись руки с пакетиками семечек и лещины. Дети угощали нас и наперебой галдели: «Видите, мы не фашисты! Давайте мириться!»

Я не просто опешила, я чуть не превратилась в соляной столп, но Игорек – ничего, смеялся, пожимал руки, сунул мне чей-то кулечек с семечками и обнял за плечи. А потом начался фильм, и мы, конечно, забыли обо всем на свете.

Да, хочу сказать о культурной жизни. Деревенька наша была совсем крошечной, все радости цивилизации, как-то: почта, школа, танцы, правление колхоза – были в соседней, за восемь километров, а у нас из очагов культуры были только сельпо и клуб.

В сельпо сидела тетя Зоя и ничего не продавала. То есть иногда туда выбрасывали соль, сахар, хлеб, и женщины все это быстро растаскивали по домам, в остальное же время собирались там просто поболтать – как раньше у колодца, но теперь ведь колодца никакого не было, были прогресс и колонка в каждом дворе.

До появления моего папеньки и клуб почти пустовал – проводили там иногда какие-то собрания, потому что в нашей деревне были два передовика – папа Игоря, дядя Боря, и знаменитый мужчина-дояр Сергей Наливайко (ну правда, такая фамилия; кстати, все местные держали коз, а у него была единственная на деревне корова – уж не знаю, в качестве тренажера, чтобы в форме быть, что ли?).

Так вот, клуб был маленький и паршивый, похожий на крымскую беседку, только намного больше, конечно, – такие беленые колонны, знаете, и по бокам все забито фанерой. Даже статуи Ленина не было.

Папенька же, приехав, стал организовывать досуг (чтобы врачи его не передохли с тоски и не поспивались), открыл библиотеку, где заправляла теперь внучка бабы Веры – Люся, и она не сидела без дела – по книжки приходили из соседних деревень, поскольку папенька слил туда в основном приключенческую литературу (а с марксизмом-ленинизмом, сказал, сами разбирайтесь).

А еще папа «договорился», чтобы к нам возили кино, и к нам в деревню по выходным стал приезжать важный такой киномеханик, правда, поздно – в девять вечера (если что, для людей, которые просыпаются в пять утра, девять вечера – это поздно), но все равно все приходили смотреть кино, рассаживались по длинным деревянным лавкам, лузгали семечки, грызли орехи и жевали попкорн. То есть тогда он, конечно, не назывался попкорном, а просто – жареной кукурузой, и готовили его из такой маленькой кукурузки с черными зернами – с солью, или жженым сахаром, или с медом, и мы с Игорьком очень любили смотреть, как черные зернышки раскрываются на чугунной сковороде в белые хрустящие пустышки.

В кино ходили все, и «доктора» – они считались чистой публикой, за неимением других важных шишек, – и папа с мамой иногда ходили. Мама наряжалась, и папа всю дорогу от дома нес ее на руках, потому что ходить на каблуках по нашей деревне – это было безумие. Все женщины у нас носили кирзовые сапоги или туфли без каблука, треники, цветастые платья, телогрейки и платки, а мужчины – те же сапоги, пиджаки, брюки, майки (Знаете, такие майки, в которых Брюс Виллез обычно мир спасает?). И кепки, разумеется. И уродливые маленькие шляпцы с засаленными лентами.

Теперь я хочу исполнить короткую песнь славы в честь кумира нашего детства – Мити Гайкина.

Ну что вам сказать, мои юные друзья, жертвы Гарри Поттера? Как вам объяснить, кто был этот великолепный Митя? Митя Гайкин был такой же великолепный дятел, как Джеки Чан, только о-о-очень серьезный. Все свои трюки он работал сам – запрыгивал на лошадь легко, как на собаку, шарился по крышам, бросался с утесов в воду и долго стоял красавцем на фоне заходящего солнца. Был настоящим индейским вождем, бессмысленным и беспощадным.

А, да, вы же не знаете. Вы же не видели ни «Чингачгука», ни «Белых волков», ни «Апачей».

Когда я была маленькой, все дети играли в индейцев. И все дети смотрели кина про индейцев, а кина эти снимала в ГДР (ну погуглите, была такая страна) киностудия DEFA, и во всех этих кинах главным героем был он – наш незабвенный Митя, мускулистый, статный красавчик с орлиным профилем, любимец детей, и не только. Даже тетя Галя говорила о нем: «Красивый хлопец, прям как наши... Только волосья длинноваты».

Хотя Гайкин играл совершенно разных вождей и сюжеты фильмов не были связаны между собой, они воспринимались публикой как сериал про Митю. Публику не смущало, что Гайкин был индейцами разных племен, например последним из могижан или предпоследним из апачей. Ну, бывает. Человек на руководящей работе (вождь же), сегодня поднимает колхоз делаваров, завтра – арапахо. А то, что девушки к нему липнут разные, так что ж... Он – мужчина серьезный, положительный, лишнего себе не позволяет... Ну, приобнимет за плечи или запечатлеет на ком-нибудь целомудренный поцелуй – ничего такого (фильмы считались юношескими, с любовью там так себе дело обстояло). Нам же, детям, было только на руку, что дело обходилось без всяких там слюней, мы хотели подвигов и приключений.

Разумеется, все эти фильмы были чистой пропагандой – борьба индейского народа с бесовскими завоевателями – и ответкой на буржуинские фильмы про Виннету (не помню, кто там был Виннету, но Мите он в подметки не годился, это точно), но мы-то, честно сказать, ничего этого не понимали. Мы принимали все за чистую монету, это были для нас фильмы «из настоящей индейской жизни», и бывало, тот же Игорек говорил мне после фильма о каком-нибудь капитане Бартоне: «До чего ж подлые люди на свете бывают!» Или, если вдруг Митя на экране по случайности хлопал ушами и к нему подкрадывался опасно близко кто-нибудь из бледнолицых собак, мы часто вскакивали с мест и орали: «Митя, сзади! Осторожно!» – и облегченно выдыхали, если он все-таки оборачивался.

Мы все были помешаны на этих немецких индейцах, тем более что выглядели они довольно глупо и подражать им было легко – мы танцевали индейские танцы, после каждой

второй фразы добавляли «хау!» и носили перья в волосах. Привлекало и то, что индейские племена могли воевать друг с другом и никому не надо было быть «фашистом» или «бледнолицей собакой».

Самой крутизной считался настоящий индейский головной убор из перьев – я почти полгода собирала индюшачьи перья, чтобы подарить Игорьку на день рождения. Но, увы, терпелки на сбор перьев хватало не у всех, и в некоторых дворах засверкали голыми задницами индюки и петухи, что стало причиной гонений и запрета индейской темы. И ничто не выглядит так паршиво, как одежда индейца, который полз куда-то в прелой листве и мокрой глине, – за это тоже влетало.

Я к тому времени переключилась на чтение рыцарских романов, да еще и привезли к нам наудачу фильму «Жанна д'Арк», так что альтернатива была найдена. Погубила нас слишком старательная подготовка проекта.

Одним прекрасным воскресным утром (воскресным, потому что в ролевухе участвовала не только малышня, но и дети постарше) вся деревня была шокирована: почти из каждого двора вышел карапуз с ночным горшком на голове (мытым, если что), со стиральной доской или тазиком в руках и с длинной палкой. Это были рядовые воины, копейщики, рыцари же имели на голове ведро.

Нас с Игорьком поймал конюх Петро при попытке вывести из конюшни гнедую кобылу. Я была Жанной, и на мне тоже был доспех: на пузе – старый тазик, за плечами – маленькое оцинкованное ведерко навроде капюшона (шлем). Все держалось на веревочках.

Ну что? Штурм Орлеана не состоялся, зато нам позволили вернуться к индейской теме – сочли, что так безопаснее.

Кстати, это единственный случай, когда я была главной героиней. В индейских играх мы с Игорьком участвовали как автономное племя ирокезов. Мы вступали в союз с каким-нибудь из враждующих племен и были разведчиками – тут еще и Мишенька оказывался украшением стола, поскольку умел ползать по-пластунски, передавать важные депеши и обезвреживать врага – просто валил с ног и держал, пока мы не подходили.

В ирокезов мы играли и раньше; выбрали же себе именно это племя потому, что, с легкой руки Купера, ирокезы имеют крайне скверную репутацию – а с нами как раз тогда никто не дружил.

После того как Игорек влился в коллектив, его часто пытались выбрать вождем – был он мальчишкой веселым и смышленным, а в драке один на один с ним никто не мог справиться (он, кстати, на редкость разумно себя вел, не задавался, а наоборот, всегда чуть смущенно говорил: «Ну чего вы теперь? Сами ж научили...») – и мальчишки как-то чувствовали свою причастность к этим его победам), тем не менее возглавить племя всегда отказывался.

Я однажды спросила у него почему. А он, подумав, ответил: «Знаешь, Глория... Я их не люблю. Они думают, я забыл, как они меня все лупцевали, а я ничего не забыл».

Поэтому мы и держались несколько особняком, хотя Игорь никак больше не проявлял этой своей неприязни к «обществу». Такой вот был непростой парнишка.

А еще нас стали было дразнить «тили-тили-тесто, жених и невеста», и я, не разобравшись в ситуации, полезла в драку, но Игорек меня оттащил – буквально за шкварник, как фокстерьера. На мое возмущенное «Ты чего?!» он солидно ответил, отряхивая мое платье от пыли: «А ты чего? Они ж правду говорят, а за правду бить нельзя!»

Так состоялась официальная помолвка, Игорек при каждом удобном и неудобном случае вворачивал гордо: «Я и моя скво», и что самое смешное, нас мало того что перестали дразнить – среди мальчишек пошла мода дружить с девочками.

И знаете, я с тех пор ни разу не собиралась замуж так серьезно – нет, у меня, конечно, однажды был муж, самый настоящий и целых семь лет, но это все как-то случайно получилось, а вот тогда мы с Игорьком распланировали свою жизнь на двадцать лет вперед. Игорек очень

беспокоился о том, что же я буду делать, когда его заберут в армию, и не пойти ли мне тоже – радисткой (мы слышали где-то краем уха, что это можно), а я думала о том, как же сказать маме, что ни в какой институт я не пойду (мама была ничем не лучше Игорька и уже все уши мне прожужжала о высшем образовании, а я еще и в школу-то не ходила) и что мы с Игорьком собираемся поступать в путягу – учиться на лесников.

Мы вместе вели хозяйство (а мы были довольно нудными детишками – кроме игр в индейцев, нам приходилось кормить гусей, чистить казаны и мыть полы, да мало ли что еще), и бывало, Игорек говорил мечтательно: «Скорее бы уже свой дом у нас был», а потом еще: «Моя мамка на тебя не нарадуется... И вежливая, говорит, и ученая, и работающая. – И добавлял: – От же мне повезло!» А я Игорьком ни фи́га не гордилась, мне было все равно, какой он, просто если нам приходилось расставаться хоть ненадолго, это казалось чем-то диким, ну как будто руку отрезали, понимаете? Вот была рука – и нету, а должна же быть, такие дела.

Глава 8

Наши родители тоже подружились – потому что мы все время отирались друг у друга по дворам. Особенно сдружились мой папа с дядей Борей.

Дядя Боря, как оказалось, страстно любил голубей и с детства мечтал о голубятне, и папа мой тоже был на них помешан.

Помню, как они лазили на крышу (папина голубятня была на чердаке амбара), а Зося кричала им с крыльца: «Куда ж вы полезли оба-два, кабаны, крышу провалите!»

Дядя Боря тоже был амбалом под метр девяносто, большущий такой квадратный мужчина.

По поводу его цыганства ничего сказать не могу – жил он как все и одевался как все, был похож скорее на гуцула – смуглый, темноволосый, уса́тый, в общем, ничего особенного, половина колхоза таких было. Разве что вот рост.

Иногда мне кажется, что еще и поэтому – из-за роста – они так сдружились с папой. Все-таки тяжело же на всех людей смотреть сверху вниз, да? Как с детьми разговариваешь все время.

Так что дядя Боря с тетей Галей стали частыми гостями в нашем доме, хотя дядя Боря не любил сначала к нам ходить и, смущаясь, объяснял папе: «Гена (так он его называл), у тебя тут как в театре, ковры везде... Ногу поставить страшно».

А папа тогда делал трагическое лицо и спрашивал с надрывом: «Боря, зачем ты меня обижаешь? Разве я тебя обижал в твоём доме? Разве говорил тебе, что ты бедно живешь? Что ж ты меня недостатком попрекаешь? Ну люблю это дело, да. Но я же не украл, я заработал!»

И дядя Боря тогда стыдился, они с папой долго хлопали друг друга по плечам, и начинались взаимные уверения, что вот они уже почти родственники, на нас с Игорьком при этом смотрели насмешливо. Хотя это папино «заработал», если честно, было весьма сомнительного свойства, поскольку в нашей советской стране никто ничего не мог вот так взять и заработать, а всех обеспечивало государство, и все эти папины аферы с больничным хозяйством были уголовно наказуемы.

Папа с дядей Борей побратались настолько, что всю семью Игорька приглашали на наше фамильное зимнее развлечение – лепить пельмени.

Папенька мой был челябинский, поэтому имел привычку вот так взять и налепить пару мешков пельменей между делом, и нас всех приучил – это стало традицией.

Зося поначалу беспокоилась, так как зимы наши были не в пример сибирским, с частыми оттепелями, и с тревогой спрашивала у папы: «Как же, Генрих, а вдруг потеплеет, пропадут твои пельмешки?» – на что папа всегда невозмутимо отвечал: «Не бойсь, Зофия, а морг у нас на что? Отнесу туда, долежат в лучшем виде!» Зося тогда пугалась и ругала отца, а он хохотал. Но пельмени и правда держал в больших больничных холодильниках – не в морге, конечно, на кухне.

И вот зимним вечером все рассаживались за большим дубовым столом, накрытым полотенцами. Папа месил тесто, Зося раскатывала и делала стаканом такие маленькие кругляшки, а остальные лепили.

За папой никто не мог угнаться, он лепил пельмени со страшной скоростью; выходили они у него маленькие, аккуратненькие, он называл их «ушки».

Второй была мама – у нее тоже получались крошечные симпатичные пельмешки, но не так быстро, как у папы.

Потом шли Зося с тетей Галей – у них пельмени были побольше, как вареники скорее.

Дядя Боря же первое время был похож на большого дрессированного медведя – за ним и папой было очень смешно наблюдать. Руки у папы были тоже большие, но, в отличие от квад-

ратных заскорузлых грабель дяди Бори, белые, ловкие, с длинными сильными пальцами. Папа лихо лепил пельмень за пельменем, а дядя Боря долго не мог ухватить кружочек теста, всегда клал слишком много фарша, а потом удивленно разглядывал кострубатого уродца, которого соорудил. Тетя Галя делала брови домиком и бросалась ему помогать, но он отводил ее руку и сурово говорил: «Я сам, Галю, не мешай!»

Мы с Игорем тоже участвовали в общем веселье – сначала лепили пельмени, а потом папа замешивал нам тесто с солью, и мы сочиняли всякие фигурки – зверушек, человечков. Зося запекала нам их в духовке, а мы расписывали акварелью.

Эти наши штуки скоро сделались популярной среди детей валютой, наряду с фантиками, фольгой и подшипниковыми шариками. Кончилось тем, что зимой у нас дома была настоящая изба-лепильня – ставили еще один стол, приходила почти вся деревенская малышня, и мы, по уши в муке, сосредоточенно лепили косоухих чебураторов, дистрофичных жирафов и страшненьких девочек с выдающимися косичками.

Такая вот была веселая жизнь.

Зося с тетей Галей стали называть друг дружку «кума» – чисто символически, как вы понимаете. А вот маму мою тетя Галя невлюбила. Нет, они не ссорились, и мама ничем не обижала тетю Галю, просто тетя Галя очень любила детей, и в частности – меня, а мама моя детей не любила. И в частности – меня.

Так бывает – иногда и без всякой причины материнский инстинкт не просыпается, и все тут. Об этом не принято говорить, но, друзья, не всякая женщина годится в матери, как не всякий мужчина – в отцы, а пока не попробуешь – не узнаешь.

У моей мамы это было следствием очень тяжелых родов. И так тоже случается – невыносимо долгая боль, удушье (а у нее было большое сердце, напоминаю), страх смерти, вот она и не смогла полюбить ту, что стала причиной этого. Скажу больше, у мамы была настоящая фобия – она боялась брать меня на руки, не могла видеть.

Все это было ужасно для нее, добросердечной и совестливой женщины. Она старалась с собой справиться, кормила меня грудью, сколько надо было, сидела со мной ночи напролет, когда я норовила подохнуть от пневмонии или ангины, да и просто неизвестно от чего, в первый год жизни. То есть получается материнский и врачебный долг в одном флаконе – а у моей мамы чувство долга всегда побеждало чувство быстро. Такой уж человек.

Так бы она и свихнулась от чувства вины, от того, что не может полюбить собственного ребенка, но, к счастью, мой папенька любил нас обоих и не дал нам пропасть.

Ну да, папенька мой был долбанутым, как вы уже знаете, поэтому он не стал клеймить маменьку позором, выволакивать из дому за косы и кричать: «Люди, посмотрите на мать-ехидну!»

Нет, вместо этого, когда она в очередной раз билась в истерике у него на руках, плакала и жаловалась: «Генрих, я сука, сука, я не могу ее видеть, я ее не люблю, родную дочь, Генрих!» – папа вытер ей слезы и сказал:

– Не плачь, не казни себя. Главное – вы обе живы. Мы присмотрим за малышкой – я и Зося, ты только докорми, если можешь, страшно ее оставлять без материнского молока, она и так на ладан дышит. И не беспокойся ни о чем, тебе надо о себе подумать, успокоиться, набраться сил.

– Но как же ребенок без матери?.. – попыталась было снова самоуничтожиться мама, но папа прижал ей палец к губам:

– Тш-ш-ш, все будет хорошо. А твое притворство ничем хорошим не закончится, ты возненавидишь девочку, и рано или поздно вся эта ненависть выльется на нее в стократном размере. Дай себе время, Аня, все наладится само собой, вот увидишь. Не мучай себя, не пугай ребенка, вы будете счастливы обе, я присмотрю.

Так что у меня была такая посаженная мать – я видела ее за завтраком, мы иногда вежливо разговаривали, как дамы на бегах, и она желала мне спокойной ночи.

Мама никогда не обижала меня, не кричала, разве что каменела лицом, если вдруг, по недосмотру, я забиралась к ней на колени, но тут же папа или Зося забирали меня, уносили, отвлекали.

Я, разумеется, чувствовала подвох и приставала иногда к маме с вопросом: «Мама, ты меня любишь?» – «Конечно, люблю», – отвечала мама и аккуратно целовала меня в макушку.

Или, когда папа, поздним вечером возвратившись из какой-то своей поездки, прокрадывался ко мне в комнату и совал под подушку пластмассового барашка, я просыпалась и спрашивала: «Папа, это мне мама подарила игрушку, правда?» – «Конечно, мама», – отвечал папа.

Других своих страданий по этому поводу не помню, в конце концов, у меня были папа и Зося, со мной много возились, играли, меня любили, учили...

И если вообще приемлемо в этом случае говорить о везении (а я, знаете ли, в любой ситуации нахожу обычно элемент удачи. Ну, просто он мне дорог), то мне, надо думать, повезло гораздо больше, чем маме. У нее-то никого не было, никакого запасного ребенка, и она все пропустила, всю эту радость про крошечные ручки-ножки, про первый зубик и первое слово, про пахнущий воробьями затылок, про детские улыбки и все такое. Всю эту радость материнства.

Я сейчас гораздо старше, чем она тогда, и мне невыносимо жаль ее, эту бедную молодую женщину, которой в первые годы моей жизни не было от меня никакой радости – только горе оттого, что она считала себя плохой матерью. Мое счастливое детство было только моим – не ее.

От меня всю эту мелодраму тщательно скрывали, ну и среди публики не афишировали. Но нет, как известно, дяди Ник-Нэка, который не покинул бы своего шкафа.

Как-то раз мы с Игорьком играли у него во дворе в прятки, и черти понесли меня в дом. Я спряталась в таком, знаете, деревенском шкафу – в углу за занавеской, где хранили, извините, пóльта. Ну и уснула, как водится, а проснулась, как водится опять же ж, услышав голоса.

– ...Волчица, чистая ж волчица... Так глядеть на свое дитя... И как земля таких носит?

– Галю, перестань! Слушать уже тошно! Я тебе двадцать раз говорил... – сердито сказал дядя Боря.

Я застыла. Дядя Боря с тетей Галей никогда не ссорились, и я не знала – удрать мне или остаться на месте и не шуметь.

– Хоть сорок, – тетя Галя ответила не менее сердито, – сто сорок раз скажи, а толку? Волчицей надо быть, чтобы не любить собственного ребенка. Нет, не волчицей, даже дикие звери и те своих детей любят. Гадюкой надо быть, гадюка и есть... А девочка какая ж хорошенькая, и умненькая, и вежливая – все «спасибо, тетя Галя», «будьте добры, тетя Галя» да «не беспокойтесь, пожалуйста, тетя Галя». И читает сама, и стишки рассказывает, и как посмотрит своими серыми глазенками, так у меня сердце разрывается – каково же быть сиротой при живой-то матери?

– Галю, ну шо ты мелешь? Ну какой сиротой? И папка у нее, и Зося, игрушек-книжек целый мешок, да и мать разве ее обижает? Большая беда – на руки не берет... Так не бьет же, не ругает, от себя не гонит... Больная она, это все от болезни, я ж тебе объяснял: роды были тяжелые, чуть не померла она, с тех пор и того... А ты подумай – легко ей свое дитя бояться? Гена говорил, больше детей у них не может быть. Единственный ребенок – и такое... Она хорошая женщина, Галя, ты же знаешь. Тут несчастье, тут пожалеть надо, а ты...

– Какое такое несчастье? Все рожают – и ничего, выдумки все это. Так и сколько лет прошло, девочке уже скоро пять, а ты все – тяжелые роды, тяжелые роды, – передразнила она дядю Борю, – одни курорты на уме, а на ребенка – тьфу. – Тетя Галя встала и тут увидела меня.

Я выбралась из полта, пошла на голос как сомнамбула и остановилась в дверном проеме, не в силах двинуться с места. Тетя Галя кинулась ко мне, подхватила на руки.

– Дочечка, ты давно тут? Что ты слышала? Скажи? Что слышала? – спрашивала она испуганно.

Надо было посмотреть на нее, и я стала поворачивать голову – медленно, очень медленно. Голова была неправдоподобно тяжелой и плохо слушалась тонкой шеи, в глазницы словно насыпали песка, и я чувствовала, как глаза – маленькие шарики – со скрипом ворочаются там.

– Это неправда. Моя мама меня любит. – Мне показалось, что я сказала это слишком тихо, и я повторила громче: – Неправда. Моя мама любит меня. – И разревелась.

Я редела скорее возмущенно, чем жалобно, скорее безнадежно, чем возмущенно. Я знала – всегда знала, – что тетя Галя права, но мне так не хотелось, чтобы это было правдой, поэтому я плакала и все повторяла:

– Неправда, мама меня любит, моя мама меня любит...

Тетя Галя прижимала меня к мягкой груди, обнимала сдобными руками, целовала и говорила:

– Любит, конечно любит... И мама, и папа, и Зося, и мы с Игорьком – все тебя любят, успокойся, доча...

Кое-как они меня успокоили, дядя Боря сам отнес меня домой, отдал Зосе и побежал ябедничать отцу.

Увидев мою зареванную мордочку, Зося спросила, что случилось. Я ответила – ниц не шкодзи – и показала разбитую коленку. А потом, вырвавшись из Зосиных рук, пошла бродить по дому.

В детской было светло, просторно и тихо – как будто для другой девочки, которая уехала куда-то насовсем. Я взяла того самого барашка и побрела в родительскую спальню. Там, сидя на бескрайней арабской кровати, глядя в раскосые глаза пластмассового уродца, я успокоилась и признала две очевидные вещи:

1) мама меня все-таки не любит;

2) барашка подарил все-таки папа.

– Баранчик-баранчик, где твои рожки? – спросила я почти беззвучно.

Ясен пень, никто мне не ответил.

«Ладно, придется обходиться папой», – подумала я, сползла с кровати, уложила игрушку в постель, прикрыв одеялом, и потопала во двор, где меня, виляя хвостом, встретил Мишенька.

Я погладила собаку и отправилась за дом – там росла яблоня, старая и довольно высокая – мое специальное место.

Я забиралась на дерево, чтобы скрыться от Зоси, просто спокойно почитать или поиграть в настоящего матроса – бом-брамсели и все такое.

То есть когда все было хорошо.

Когда же все было плохо, я приходила побродить вокруг яблони и «подумать над своим поведением», по выражению той же Зоси. Ну или над чужим – по обстоятельствам.

Думать приходилось частенько – вокруг яблони была протоптана убедительная дорожка.

И этот раз не стал исключением – мы с Мишенькой бродили вокруг дерева как постовые, и я думала о маме.

Мысли выходили невеселые, но и необидные, и первой из них была банальная сердитая детская мысль: «Я же не просила, чтобы меня рожали, да? А теперь придется им потерпеть, не могу же я родиться обратно...» Других-то претензий ко мне вроде как и не было...

Но раз так, ситуация выглядела безнадежной – я ничего не могла исправить. Мысль перестать быть мне в голову не приходила – я всегда была неприлично живучей, и тогда, и теперь.

Папа пришел за мной уже в сумерках, сказал: «А, вот ты где», взял на руки, спросил, стараясь, чтобы голос не звучал встревоженно: «Ты как, дружище?» А я ответила, что все хорошо.

Тогда он прижал меня к себе и тоже стал бродить вокруг яблони и рассказывать мне про маму, про то, как все было и почему, что она ни в чем не виновата и я ни в чем не виновата, просто нам обоим здорово не повезло. А потом добавил, что ведь и повезло – мы обе живы как-никак, а с остальным уж разберемся, нужно время.

А я сказала, что на маму не обижаюсь и надо к ней поменьше липнуть, наверное, да?

Тут папа перестал прижимать меня к себе, а, наоборот, слегка отстранился, вышел к свету, лившемуся из окон, посмотрел на меня внимательно и сказал, что я – его ученый скворчонок и даже удивительно, как это я все так хорошо понимаю, а еще, что любит меня, как сорок тысяч папьев любить не могут.

Я расхихикалась и сказала, что нет такого слова – «па́пья». Слово показалось мне необыкновенно смешным, и я все повторяла: «Папья, папья», – и трогала его за нос.

У детей довольно странное чувство юмора, да. Как и у собак.

Потом он отнес меня в дом и еще долго читал мне про короля Артура, изображал Ланселота на телеге, а я снова хихикала в ладошку, чтобы не разбудить Зося, но Зося все же проснулась и прогнала папу спать.

И я тоже уснула – вполне счастливой и спокойной. Та змея, что все-таки грызла мое сердце в последнее время, подохла.

С мамой с тех пор у нас установились скорее приятельские отношения. За последние тридцать лет мы много раз ссорились, мирились и в конце концов подружились почти по-настоящему. Конечно, у нас все «не как у людей», она мне больше подруга, чем мама, но мы неплохо выкрутились из всего этого дерьма, так я думаю.

Само собой, все это не так уж просто сошло мне с рук – я долго еще ходила, как скупой рыцарь пересчитывая эти свои пятаки-любви, сжимая их в кулаке. «Папа меня любит, и Зося меня любит, и Игорек, и тетя Галя. А не любит всего лишь одна мама. – И добавляла, как папа, когда осматривал больных: – Что ж, это совсем неплохо».

Да, это было совсем неплохо, тем более что в скором времени ситуация разрешилась в мою пользу весьма странным образом.

Глава 9

Я очень любила передачу «В мире животных», любила до такой степени, что, когда кто-нибудь из взрослых спрашивал меня этим блеющим голосом: «Детка, а кем ты хочешь стать?» – без запинки отвечала: «Николаем Дроздовым».

Да я и сейчас бы не отказалась побыть Дроздовым. Ну подумайте сами: все эти пустыни, джунгли и саванны, все эти зебры, кроты и пауки-птицееды – это же просто праздник какой-то. Очень мне хотелось отправиться в странствия, и я сожалела о том, что нельзя взаправду забраться в телевизор и увязаться за счастливым. То-то бы он удивился, если бы вдруг откуда ни возьмись появилась маленькая девочка и сказала: «Здравствуйте, уважаемый Дроздов. А я с вами, можно?»

Но вот однажды он показал мне передачу про змей – и я поймала жестокий глюк.

Нет, змей я не боялась (да и сейчас не боюсь), но, видно, коллективное бессознательное не дремлет, и, когда отважный Дроздов сунулся в самое что ни на есть змеиное гнездо – ну, знаете, там, где они кучей ползают, лениво сплетаясь друг с другом в такой шевелящийся ковер, дрожат языками, – вот тогда нехороший холодок пробежал у меня между лопаток.

Не то чтобы я испугалась, да и ночью никаких кошмаров мне не снилось, но вот утром, за завтраком, я с изумлением наблюдала за маленькой пестрой змейкой, выползающей из рукава моей пижамной курточки.

Они были везде – у ножек стула, на столе, и даже из моей тарелки с молочной кашей выполз полосатый, похожий на аспиду змееныш.

«Как же это он не испачкался?» – подумала я и удивленно спросила:

– Зося, откуда здесь все эти змеи?

– Какие змеи, цурко? – Зося принесла мне какао с молоком и оперлась рукой о стол. Положила руку прямо на змею, да. И змея на эту руку заползла. А Зося повторила: – Какие змеи, Глория? Ты шутишь?

И вот тут я испугалась по-настоящему. Я поняла, что свихнулась. Сошла с ума.

Я была докторским ребенком, ну знаете дразнилку – доктор едет на свинье с докторенком на спине? Так вот, докторенок – это я и есть. Про психов я знала на примере одного такого Онищенко, которого наблюдала как-то раз в больнице – у него был приступ «белки». Вот тогда-то мне и объяснили, что дядя вроде как сошел с ума и видит то, чего нет. И что таких отправляют в дурдом. О дурдоме я ничего толком не знала, но даже пятилетнему человеку ясно, что там никого ничего хорошего не ждет. Что там плохо и страшно. А уж пятилетнему человеку, читавшему Диккенса и видевшему Онищенко, гонявшего чертей...

Поэтому я опустила глаза, покрепче сжала ложку и сказала:

– Конечно же, Зося, я шучу.

Зося покачала головой и отошла по своим кухонным делам, а я снова взглянула на змей. Галлюцинация была качественной (да, слово «галлюцинация» я тоже знала) – змеи были видимы, осязаемы, правда, пахли ужами (тогда я еще не видела змей живьем, только ужиков, так что материала не хватало).

Их нет, подумала я, мне мерещится. Надо дождаться папу, он меня вылечит и ни за что не отдаст в психушку. Их нет. Нечего бояться.

Но они были. Вились вокруг тарелки, выползали из одежды, противно щекотали шею. Их становилось все больше. Было не очень страшно, было тоскливо и мутрно.

Я отодвинула чашку, сказала Зосе «спасибо» и на негнущихся ногах отправилась в детскую. Змеи ползали под пижамой, вываливались из рукавов, но я помнила (спасибо Онищенко), что стряхивать их нельзя – все сразу поймут, что я псих.

От этой мысли я чуть не заорала, даже пришлось зажать рот рукой: точно, я псих, они же хитрые – это я тоже знала. И я теперь – хитрый псих.

В висках стучало, я с отчаянием думала: что же делать, что же делать?

Папа уехал в командировку и должен был вернуться дня через два. Надо было дотерпеть. Хо-хо, ну уж терпеть-то я умела – люди, выцарапывавшие меня у смерти, все время приговаривали «ну потерпи, потерпи», когда делали мне уколы, поили отвратительными лекарствами, держали в парилке, где совсем никак нельзя было дышать.

Я приободрилась – ровно до того момента, как откинула одеяло, чтобы убрать постель (я была «работящей» девочкой – сама убирала постель и игрушки, одевалась, чистила свои башмачки – Зося учила меня).

Их были сотни – гладких, скользких, шуршащих гадов. Они не бросались на меня – просто шевелились поблескивающей, наводящей ужас массой под одеялом, все известные мне змеи – вот гюрза, вот аспид, вот древесная змея, а вот уж совсем какие-то омерзительные твари, похожие на огромных дождевых червяков, – розовые, полупрозрачные, с головами как у куфий.

Мне снова пришлось немножко посидеть на полу, зажав руками рот.

Накатывала паника – ужас, липкий, тягучий и противный, как холодный кисель. Хотелось орать, кататься по полу, стряхивать с себя всю эту гадость.

Я с трудом перестала скулить и начала дышать, как учил папа, – быстро-быстро.

Кошмар отступил.

Они же меня не трогают, думала я, стараясь быть рассудительной, ну и пусть себе. Ничего страшного, ничего... Надо придумать с одеждой только и...

Я не знала, что «и», поэтому решила начать с правильной одежды.

Сделав глубокий вдох, как ныряльщик, и взяв для храбрости свой зеленый пластмассовый меч, я полезла в шкаф. Надела майку с длинными рукавами на резинке, натянула по самые подмышки синие колготки, нашла даже прекрасную и нужную вещь – связанную из разноцветных ниток шапочку с ушками, завязывающимся под подбородком.

– Это что же ты нарядилась, как дурочка? – всплеснула руками Зося. – Ты на улицу в этом идти собираешься?

– Я – рыцарь. Королевский страж. Видишь, у меня меч и шлем, – сказала я, указывая на шапочку. – Я не пойду со двора, Зося, не беспокойся. Просто поиграю. – И выскользнула на улицу.

Во дворе оказалось еще хуже, твари были под крыльцом, в траве, лениво ползали по ступенькам крыльца. Мне негде было спрятаться, во всех моих любимых укрытиях копошились змеи – в собачьих будках, на голубятне и даже на ветках моей яблони. Они тяжело шлепались оттуда мне на плечи, и я поспешила обратиться обратно в дом.

– Знаешь, Зось, я лучше почитаю, – сказала я, а Зося заворчала:

– Опять будешь глаза ломать целый день... Ну, как знаешь...

В кабинете у отца было пусто, тихо и пахло папиным одеколоном. На спинке кресла висел старый отцовский свитер, я уткнулась в него носом и совсем уже почти расплакалась, но тут из горловины вылезла большущая змея, и я отшатнулась.

Забравшись на подоконник – относительно безопасное место, – я попыталась читать, но ничего не получалось – между строчками мне мерещились змеиные головы, и я стала рисовать в блокноте маму, папу, себя с красным шариком, а потом просто писала большими корявыми буквами, страницу за страницей: «МИЛЫЙ ПАПОЧКА, ПРИЕЗЖАЙ СКОРЕЕ, МИЛЫЙ ПАПОЧКА, ПРИЕЗЖАЙ СКОРЕЕ...»

Я пережила обед и даже ужин с мамой, которая встревожилась, увидев меня, стала спрашивать, не заболела ли я, и трогать губами лоб.

– Такая бледненькая... но температуры вроде бы нет... У тебя ничего не болит, Глория? И что ты шапку эту дурацкую нацепила? Тебе холодно? Морозит?

Я уже привычно забубнила про стража короля, но тут Зося меня выручила:

– Она просто по отцу скучает, Ганю, целый день сегодня просидела у него в кабинете.

Мама опустила глаза и сказала, что пора бы мне спать.

Я внутренне ждалась – под одеяло я бы не полезла ни за что, я не могла, это было слишком.

Пожелав маме спокойной ночи, я метнулась к себе и вытянулась солдатиком поверх одеяла.

Когда пришла Зося, я объяснила ей, что страж короля должен быть всегда начеку, поэтому я буду спать одетой и с мечом.

Я довольно часто придумывала разные глупые игры, и Зося не удивилась. Посетовав на мое упрямство, она накрыла меня своим платком и легла спать.

Я лежала, смотрела в темноту и слушала Зосино дыхание – ждала, пока она уснет. Змеи под платком ползали по ногам, обвивали лодыжки, и я, чтобы отвлечься, стала думать о том, что врать, оказывается, очень легко, что любого можно обвести вокруг пальца. Наверное, поэтому люди и придумали, что врать – нехорошо. Просто чтобы обезопасить себя – кому охота быть обманутым? Тут мне стало очень горько, я подумала, что папа уж никак не похвалит меня за вранье...

«А что мне было делать, что? – мысленно восклицала я. – Они же отдадут меня в дурдом, если я скажу все как есть, а я не хочу...»

Онищенко привезли в больницу жена и брат. И Зося с мамой отвели бы меня, все люди так поступают с психами, даже близкие. Но не папа. Папа никому меня не отдаст, он меня вылечит. Вот пусть только приедет...

Надо быть осторожной, не плакать, не кричать, не выдавать себя. Дождаться.

Странное дело, ведь никто из родных не обижал меня, а я росла скрытной и осмотрительной, как лисица. Может быть, плохие гены? Отец мой, несмотря на то что жил с размахом, да и повеселиться любил, был человеком расчетливым, хладнокровным и временами безжалостным. Его любили, но и побаивались, а свой «нехороший» взгляд я унаследовала именно от него. Обычно шумный и веселый, за карточным столом папа был спокоен и сдержан, никогда не показывал ни огорчения, ни радости от результатов игры. Что такое «покер-фейс», я знала с раннего детства, хотя в карты играть он меня так и не научил.

Зося задыхалась ровно, и я, выждав некоторое время, сползла с кровати и на цыпочках прокралась в отцовский кабинет. Там стоял большой кожаный диван, гладкий, без всяких подушек и пледов, змеям негде было спрятаться. Да и вообще – в папином кабинете было как-то спокойнее.

Единственная проблема – на диване спала Тиффани, вторая «папина собака». Она, как и Рекс, не подпускала к себе никого, кроме отца, а меня так и вовсе терпеть не могла, даже один раз укусила за нос.

Когда я подошла к дивану, собака тихо зарычала.

– Фани, пусти меня, пожалуйста, – шепотом попросила я, – здесь много места, я тебе не помешаю...

Но Тиффани вскочила и зарычала громче.

Я села на пол и оперлась о диван лбом. У меня не было сил вернуться в детскую, вокруг в темноте шелестели невидимые гады, и мне все труднее было убедить себя в том, что это просто морок. Вот сейчас Фани поднимет лай, разбудит маму, Зося, а я не могу больше врать и пропаду.

– Собаконька, пожалуйста, не шуми, – шептала я, едва сдерживая слезы, – я устала, Фани, мне страшно, мне так страшно... Пусти меня, пожалуйста, я полежу тут в уголочке совсем тихо...

Собака вдруг перестала рычать, заскулила, завиляла хвостом, потом спрыгнула на пол, поставила легкие лапки мне на грудь и облизала лицо.

Я вскарабкалась на диван, забила в угол, а Фани легла рядом.

– Фаничка моя хорошая, – шептала я, поглаживая собаку, – ты же меня защитишь, да? Не подпустишь их ко мне? Ты же императорская собака, они тебя испугаются, не посмеют подползти...

Фани беспокойно поскуливала, поворачивая ко мне круглую глазастую мордочку, чтобы лизнуть в нос.

Они такие, эти собаки. Могут тебя не любить, но если уж совсем беда, всегда помогут.

С Фани было легче. Я зарылась лицом в ее длинную шелковистую шерсть и уснула.

Во сне кошмары не мучили меня, они дожидались там, снаружи.

Проснулась я от холода – Тиффани была маленькая, легкая, как пуховка, и не смогла согреть меня.

Я открыла глаза и увидела их – змеи были на столе, в креслах, среди книг. Но по мне и по собаке они не ползали.

«Ага, – с усталым злорадством подумала я, – испугались? А дули вам!»

Я как будто и не спала – голова была свинцовой, руки затекли. Уходить из кабинета не хотелось, но мне предстояло притворяться еще целый день.

Я попыталась было вернуться в детскую, но не смогла – на кровати их было слишком много. Но худшее ждало меня впереди. Умыться, почистить зубы, сходить в туалет оказалось для меня непосильным испытанием: в ванной змеи лезли отовсюду – из раковины, из унитаза, из-за зеркала, я даже всплакнула, вжавшись спиной в дверь. Однако, услышав, что Зося проснулась, я быстро поплескала себе водой в лицо и вышла.

Зося твердо решила развлечь меня, и, чтобы она уже отцепилась, я стала помогать ей по дому – помыла посуду, смахнула пыль, поскребла веником пол.

День набирал силу, было солнечно и жарко, но я ходила, словно в сумеречном лесу. Кошмар засасывал, и мне все труднее было не дергаться от прикосновений, не шарахаться от змеиных клубков, отвечать на вопросы. В конце концов я забила в отцовский кабинет и наотрез отказалась оттуда выходить.

Зося, да благословит Господь ее доброе сердце, оставила меня спать там, только принесла одеяло. Я обреченно закрыла глаза и позволила себя укутать, но как только Зося вышла, с тихим визгом отпинала проклятую тряпку подальше от дивана.

Фани забралась мне на руки. Так я и сидела, обнимая собаку, держа в руке меч и для храбрости напевая любимую папину песню про флажки, пока не провалилась в сон – как в волчью яму. А утром приехал папа.

Я услышала его голос и бросилась к нему как была – в сползающих синих колготках, и с зеленым мечом, и в глупой шапочке, а он подхватил меня на руки и рассмеялся.

– Ах ты, чертушка! Ты что, так и спала в шапочке?

Я боялась расплакаться. Мне надо было объяснить ему все спокойно, поэтому я промолчала, только крепко обняла его за шею.

– Шею не дави! Шею не дави, – сказал он голосом Карлсона, заглянул мне в лицо и спросил: – Что случилось, маленькая? Что с тобой?

Я вцепилась в лацканы его пиджака и уже собиралась все ему рассказать, но тут увидела маму и Зосю.

– Папа, – сказала я дрогнувшим голосом, – мне нужно поговорить с тобой наедине.

Папа снова рассмеялся и слегка поклонился маме с Зосей:

– Извините, дамы, моя любимая дочь желает поговорить со мною наедине.

– Напрасно ты во всем потакаешь ей, – нахмурилась мама, но папа поцеловал ее и сказал:

– Пустое.

Он отнес меня в кабинет, прикрыл двери и спросил:

– Ну?

– Папа, – я вздохнула, – милый папа, я сошла с ума. Я всюду вижу змей, а их ведь нет, понимаешь? А я их вижу. Помоги мне, пожалуйста, вылечи меня, только пообещай, что не отдашь в дурдом, хорошо? Обещаешь?

– Постой, дружище, какие змеи? – Папа изумленно вздернул бровь; он все еще улыбался. – Где?

– Везде-е-е-е-е!!! – заревела я, уже не сдерживаясь. – Они везде-е-е-е, я больше не могу, га-а-а-а-а...

Я орала, плакала, билась в его руках, и это было такое облегчение... Словно меня из тесной зловонной клетки выпустили плясать на раскаленные уголья.

Я так извивалась, что чуть не разбила ему лицо лбом.

Папа растерялся ненадолго, в следующую же минуту он, умело зафиксировав меня и прижав к себе, крикнул:

– Анна! Шприц, быстро!

Мама, прибежавшая на крик, метнулась к шкафчику, вытащила контейнер со стерилизованными шприцами и только слегка замешкалась с лекарством.

– Быстрее, б... быстрее! – перекрывая мой визг, гремел папа.

Мама уже подходила.

– Поверни ее, – сосредоточенно сказала она и ловко уколола меня в бедро.

– Тише-тише-тише... ш-ш-ш-ш-ш... – Папа ходил по комнате, баюкая меня, и я замолчала. Руки и мозги стали ватными. Страх не отступил – он просто больше не имел значения.

Папа посадил меня на стол, а сам присел рядом на ручке кресла.

– Ну, ты можешь говорить? Ты меня слышишь? Понимаешь? – спросил он, вытирая мне слезы большим шелковым платком.

– Да, – выдохнула я, – да, папа.

– Что случилось, маленькая? Расскажи мне, не бойся, – папа поцеловал мою ладонь и прижал к щеке, – что это за змеи такие?

– Вот, – я обвела рукою стол, – вот здесь змеи, папа. Видишь?

Отец отрицательно покачал головой.

– А я вижу, – вздохнула я. – И на столе. И в книгах. И в туалете. И под одеялом. Ползают и ползают. Это значит, что я свихнулась, да?

Я снова захныкала – действие успокоительного начинало проходить. Это была еще одна моя беда – ни седативные, ни обезболивающие препараты меня не брали.

– Ну, успокойся, детка, тише, смотри на меня. – Папа погладил меня по руке. – Никакой ты не псих, просто чего-то сильно испугалась. А скажи, давно они... м-м-м... ползают?

– Два дня. Но я не испугалась! – горячо заверила я папу. – Я не боюсь... просто они так мне надоели... – Я устало махнула рукой.

– Два дня! – ахнула мама. – И ни слова!

– Что же ты маме не сказала? Или Зосе?

– Я боялась, что меня заберут в дурдом... навсегда... А ты же меня не отдашь, папочка, скажи, не отдашь?

– Конечно, не отдам. – Папа взял меня на руки и стал мерить шагами комнату, задумавшись о чем-то. – Аня, – наконец сказал он, – собери все, что нужно. Путь неблизкий.

– Папа, ты же обещал... – У меня внезапно сел голос. – Ты же обещал не отдавать меня...

– Нет-нет, Глория, не бойся, – папа снова посадил меня на стол и взял за руку, – мы поедем к одной бабушке. Она волшебница, она тебе поможет. А вечером вернемся домой.

– А ты не можешь? – спросила я.

– Я не могу, – папа улыбнулся, – но я знаю, кто может. Ты продержишься еще пару часов? Справишься?

Я кивнула. Мама отвела отца в сторону:

– Генрих, тебя уволят, если узнают... а они узнают, в деревне ничего не скроешь... Главврач возил свою дочь к знахарке... Генрих...

– Варианты? – коротко спросил отец. – Аня, здесь некому ей помочь, из меня гипнотизер, как из дерьма – пуля. До Киева мы ее не доведем в таком состоянии, даже на «колесах». – Он невесело усмехнулся. – Два дня, Аня, подумай – два дня... Как она не ссыт еще, я удивляюсь. Собери аптечку, малышка, и едем.

Мама всхлипнула и прижалась к отцу. Он отстранился и ласково сказал:

– Не время плакать, Аня. Давай помогай мне.

Мама кивнула и стала быстро собирать врачебную сумку. Зося, простоявшая все это время у двери крупным напуганным сусликом, оставила наконец в покое свой фартук и произнесла тихо, но решительно:

– Я тоже поеду, Генрих.

– Конечно, Зофия, если хочешь, – рассеянно согласился отец, – возьми чего-нибудь попить и бутербродов, что ли... Ехать далеко.

Он содрал галстук и рванул ворот рубахи – терпеть не мог грязное белье. Потом поднял меня на руки:

– Поедем, маленькая? Меч с собой берешь?

– Да. – Я сжала рукоятку меча, который так и не выпускала из рук, и робко спросила: – Папа, а Тиффани мы можем с собой взять?

– Фани? Да вы же вроде бы не ладили?

Я прижалась щекой к его плечу и стала рассказывать:

– Мы помирились. Фани охраняла меня. Ночью охраняла, не подпускала их ко мне. И в нос лизала, когда я плакала. Я не плакса, просто поплакала немножко, а она меня успокаивала. Она же всего лишь собака, понимаешь? Поэтому не могла мне сказать: «Не плачь, Глория», а только лизала в нос.

– Конечно, возьмем, раз так. – Папа улыбнулся и мимоходом подхватил с кресла мирно лежавшую там собаку. – Будет у нас настоящий караван.

Он вынес нас на улицу, посадил меня на переднее сиденье, пристегнул и вручил мне Фани. Так я и ехала – при пекинесе и мече.

Папа завел машину, дождался женщин и, крикнув, чтобы открыли ворота, рванул с места. Водил он очень хорошо, но лихачил, а тут и вовсе шел на предельной скорости.

– Пап, а она настоящая волшебница? – через некоторое время спросила я. – Разве они бывают?

– Ань, поговори с ней, – бросил отец, не отрывая взгляда от дороги.

– Нет, я тогда лучше спою песню, можно? Так получается смелее, – тихо сказала я.

– Хорошая мысль, – улыбнулся папа, мельком взглянув на меня. – Что будем петь?

– «Охоту на волков».

И мы всю дорогу орали Волохины^[3] песни, папа – модным хрипатым голосом, а я – тоненьким.

Дорога и вправду оказалась длинной, и к маленькой беленькой хатке на окраине деревни (или на окраине леса?) с мальвами и вьюнком в палисаднике мы подъехали уже вечером.

– Захарьевна! – взревел отец, вылезая из машины и разминая затекшие ноги и спину. – Захарьевна, ты дома? Это я, Генрих!

На крыльцо вышла статная костистая старуха, лишь немногим уступавшая папашке моему в росте.

– И чего ты орешь, дуболом? А постучать, как добрые люди? – Она говорила строгим голосом, но было видно, что папу любит и рада ему.

Они поздоровались, и Захарьевна спросила:

– Ну, чего тебе?

Папа, вынув из машины весь комплект – меня, собаку и меч, – сказал:

– Беда у меня, Захарьевна. Дите заболело. Треба переляк вилити^[4], – добавил он по-украински. – Поможешь?

– Чего ж не помочь? – Старуха уколола меня взглядом, но заинтересовалась больше собакой. – Это шо ж у тебя за зверь такой? Мавпочка? – Она потянулась рукой к Тиффани, а та сказала:

– Яф!

– Та невже ж собачка? – Старуха отдернула руку и заулыбалась. – От же ж и напридумует Господь всякой твари!

Папа нетерпеливо вздохнул.

– Та не сопи, – сказала Захарьевна, пытливо глядя на отца. – Помогу, чего ж не помочь. Если дите крещеное.

И тут начался наш семейный цирк. Папа убеждал старуху и предлагал любые деньги. Мама плакала и просила. Папа грозился встать на колени и таки встал. Мама схватила меня за руку, подтащила к Захарьевне и велела попросить бабушку хорошенько. А я вдруг обозлилась и звонко – так, что эхо прокатилось, – крикнула:

– Не стану! Ну ее! Не хочет – не надо, поехали отсюда.

Фани зарычала, а папа поднялся с колен, отряхнул брюки и, глядя на старуху в упор, улыбнулся на редкость скверной улыбкой.

– Ладно, старая корова, – спокойно сказал он. – Где тут у вас ближайший поп?

Ну как вам объяснить, выросшие в этой самой демократической России друзья? Если отвезти младенца к знахарке значило поиметь неприятности, то крестить младенца – для главврача образцово-показательной больнички и члена, извините, партии это был полный... Крах, ага. После этого его не просто уволили бы – единственное место, пожалуй, где он мог бы продолжить свою карьеру, это как раз санитаром в дурке, в которую положили бы меня. Такие дела.

Но это еще не конец истории, о нет.

Зося, хранившая все это время загадочное молчание, в свою очередь грузно опустилась на колени и, поднимая летнюю дорожную пыль, поползла к отцу, величая его Генрихом Васильевичем и слезно прося прощения.

Папа даже несколько растерялся.

– Зофия, ты-то чего? – изумленно спросил он, поднимая Зою.

И Зося призналась, что несколько лет назад, когда родители мои уехали в Польшу, а Зою со мной оставили у львовских родственников, она тайно крестила меня. В истинную католическую веру.

– Так я любила мою пташку, так любила, – всхлипывала Зося, – а она болела все время, и я подумала – а ну как Глория, моя дзэфачка, умрет некрещеной и будет гореть в аду?

– Католичка... – Папа после паузы расхохотался и обернулся к старухе: – Католичка подойдет?

– А что ж... – Та поджала губы. – Вера все одно наша, христианская.

– Что ж ты, корова старая, крещеного младенца от некрещеного не отличаешь? А еще профессионал! – Папа сунул меня в руки Захарьевне как вещь. – Иди работай!

Старуха плюнула ему под ноги, потом, смерив маму взглядом так, что та невольно поежилась, сказала:

– Ты, что ли, мать? Со мной пойдешь! – и направилась к дому.

– Лучше я, – дернулся папа.

Старуха вернулась, ткнула папу скрюченным пальцем в плечо:

– Ты, барбосьяка москальська, чув, шо я сказала? Только мать, это наши женские дела, и не суйся, а то прокляну!

– Ладно-ладно, – отец поднял примирительно руки, – не сердчай, погорячился я. – Свистнул собаку и пошел к машине, хлопая себя по карманам и бормоча: – И чего ж я, дурак, не курю? Так иногда покурить надо – а я не курю...

Пол в хатке был деревянный, натертый воском, с пестрыми половиками. Была печка-мазанка, посреди комнаты стоял небольшой топчанчик, покрытый простыней – как в больнице, подумала я. Были еще иконы в углу, под потолком сушились травы, а у окна как дурак среди всего этого стоял обычный письменный стол, покрытый аляповатым, расшитым золотом платком. На столе лежала раскрытой какая-то старая книга, рядом с ней – две пары очков в грубой черной оправе.

Старуха указала маме на стул у двери, меня усадила на топчанчик.

– А ты бойкая деваха, – сказала она мягко, снимая с меня шапочку и сандалики.

– Извините, что нагрubiла. – Я опустила голову.

– Прощаю на первый раз, – усмехнулась старуха, погладив меня по голове. – Не плачешь, а батько твой сказал, что напугал тебя кто-то. Как же так?

– Уже плакала, – я опустила голову еще ниже, – когда папа приехал...

– Ага. – Старуха взяла мое лицо в ладони и посмотрела на меня лукаво. – И правда, поплакала – и будет.

Глаза ее, когда-то голубые, были теперь совсем светлыми и прозрачными, как вода. В контрасте с темным от загара лицом это было даже страшновато – как будто смотришь на хищную птицу. Но я почему-то не напугалась, а успокоилась и спросила доверчиво:

– Бабушка, вы мне поможете? Папа сказал, что вы – волшебница...

– Никакие мы не волшебницы, но кое-чего можем. Ты ложись, дитятко, закрой глазки.

Я послушно вытянулась на топчанчике, а старуха раздула огонь в печи, бросила туда связку сухих трав и поставила котелок. Потом взяла банку с водой и травяной веничек, позвала маму и велела ей ходить вокруг меня, молиться и разбрызгивать веничком воду.

– Но я не умею молиться, – испуганно сказала мама.

– Молись как умеешь, – хмыкнула старуха, а сама принесла котелок и железную мисочку с воском и стала этой мисочкой надо мной водить, что-то бормоча.

Я лежала с закрытыми глазами, чувствовала тепло, исходящее от ее рук. Запахи тлеющих трав, воска, воды и деревянного пола сплетались в странную, печальную мелодию, похожую чем-то на музыку Глюка (ну извините, я без намеков – кто же виноват, что у него такая фамилия?).

Старуха тронула меня за плечо:

– А ну посмотри сюда. Что ты видишь?

Я с трудом открыла глаза и заглянула в мисочку.

– Змейку. – Я с удивлением посмотрела на старуху. На гладком воске в мисочке был четкий рисунок маленькой змейки.

– Это оно? – Старуха склонилась ко мне, я кивнула. – Ну, полежи еще тогда.

Через некоторое время она снова велела мне смотреть. Воск был весь покрыт изогнутыми линиями – так в книжках рисуют человеческий мозг, но ничего похожего на змей там уже не было.

Старуха покивала, довольная, потом велела маме меня раздеть, а сама подтащила к печке деревянный ушат, в который меня и поставили.

Потом меня поливали водой с лепестками каких-то цветов, старуха опять что-то бормотала и обмахивала меня тем же веничком.

Потом меня, сонную, завернули в простыню, и старуха сказала маме:

– Сейчас уходи. Привезешь мне ее снова через двадцать один день.

Мама хотела меня одеть, но Захарьевна не позволила. Вынесла маленькое серое одеяльце, так меня и несли до машины – запеленатую, как младенец.

Обратной дороги я не помню – спала.

Глава 10

Три недели протекли вполне мирно. На следующее утро после поездки к старухе я нарочно обежала весь дом, заглянула под все одеяла – змеи пропали и страх исчез бесследно. Я даже показывала папе по Брему, какие гады мне мерещились.

Подошло время ехать к старухе снова, папа собирался нас отвезти, но мама отказалась и сама села за руль.

Ехали мы гораздо дольше, чем в первый раз, было жарко, но я не капризничала – мама очень редко водила машину и здорово нервничала.

Старуха возилась на грядке у дома и встретила нас как старых знакомых. Провела в дом, дала напиток с дороги и отдохнуть, подробно расспрашивала маму обо мне – как я ем, да как я сплю, да не кричу ли во сне.

Мама отвечала неохотно – было видно, что Захарьевну она побаивается.

Потом старуха долго водила руками у меня над головой и, помолчав, сказала маме:

– Не пойму я, что с твоим дитем. Страх из нее ушел, порчи нету, а в голове – как взрыв какой-то черный. Хворая она у тебя.

Мама с готовностью закивала и стала рассказывать, как я болею все время, и даже заплакала.

Старуха нахмурилась:

– Ну, будет, не реви. Про эти ее болячки знаю, Генрих не раз ко мне приезжал, совета просил. Тут другое...

– Что? – Мама подняла на старуху заплаканные глаза.

– Так ото ж, – Захарьевна по-мужски хлопнула себя по колену, – не пойму я. Ладно. Травок заварю сейчас. Пошепчу над ней...

– А как же... Вы же сказали – не знаете, что делать... – растерялась мама.

– Как это – не знаю? – возмутилась старуха. – А обряд закрыть с того раза надо? А после помолимся, – может, и вразумит меня Господь.

Захарьевна раздула огонь в печи, снова набросала туда сухих трав, в ушат на этот раз она тоже положила каких-то травок.

Меня опять обливали водой, старуха шептала что-то, а потом подала маме ковшик и велела умыться.

– Зачем? – удивилась мама.

– Лицо ополосни, – терпеливо повторила старуха, – и слушай сюда. Сейчас я ее водой из-под тебя обмою и буду говорить слова. Ты их крепко запомни – повторять не стану, записывать нельзя. С собой дам тебе растений, будешь дома заваривать, узваром дите обмывать и заговаривать – чтоб переполох не вернулся и болячки ее отошли, поняла?

Мама кивнула и поплескала себе в лицо из ковшика.

Бабка стала лить мне на темя эту воду и говорить нараспев стихи. Мама напряженно смотрела ей в лицо, шевелила губами – запоминала.

Меня, как и в прошлый раз, потянуло в сон, глаза закрывались, в голове гудело, словно кто-то пел, не размыкая губ, – мmmm... мmmmm... мmmmm...

– Я сбилась, сбилась... – вдруг с отчаянием сказала мама, но старуха не остановилась, продолжала бормотать.

Закончив, она велела маме подать простыню, завернула меня и посадила на топчанчик.

– Что же теперь делать? Я сбилась, не запомнила слова... – Мама вцепилась в рукав старухе, заглядывала в лицо, но та молчала. Мама опять расплакалась, стала просить повторить слова, старуха же только хмурилась.

Маму было жалко, и я подержала старуху за другой рукав:

– Бабушка... Бабушка, а можно я буду говорить стишок?

– А ты запомнила? – удивилась Захарьевна. – Быть не может. Ну-ка, скажи!

Мне стало смешно. Я знала наизусть «Муху-Цокотуху», и «Песнь о Гайавате», и про «подожди немного, отдохнешь и ты», и еще сто Волохиных песен для папы. Прикрыв глаза, я отгортаторила стих и спросила:

– Верно? Так можно, бабушка?

– Можно. – Старуха смотрела на меня внимательно, без улыбки. Повернувшись к матери, спросила: – Сколько ей?

– Пять будет осенью, – сглотнув, ответила мама.

– Ага, – кивнула старуха. – А еще что может? Читать умеет?

– И читать, и писать, и считать, – заторопилась мама, а я сказала:

– Мама, писать я не очень... Только по-печатному, и буквы кривые...

Старуха под села ко мне:

– А в травках понимаешь?

– Нет, – вздохнула я (мне не хотелось ее огорчать), – одну книжку только читала про лекарственные растения, но картинки еще не выучила. И вообще, я больше животных люблю.

– Это она в отца, – пояснила мама, – тот дома целый зверинец развел... И эта туда же. Никого не боится – ни собак, никого. Даже крыс.

– Так-так. – Старуха надела очки, стала разглядывать мои ладони. Потом покачала головой: – Старая корова. Точно твой Генрих сказал... Чуть не проглядела. А скажи мне, милая, головную боль она руками не снимает? Или еще чего?

– Нет, – мама слабо улыбнулась, – головную боль не снимает, пока только вызывать научилась. – Тут она вдруг задумалась и добавила: – Разве что... ну, она всегда знает, если у меня мигрень или если заболел кто-то – как чувствует.

– Как знаешь? – строго спросила у меня старуха.

– Как все, – пожала я плечами, – вижу. Когда у мамы голова болит, она делает вот так. – Я наморщила лоб и приложила руку к виску. – А когда Зосе плохо, она делает вот так. – Я приложила руку к груди. – А со зверями... Ну, шерсть не блестит, и пасть бледная, и вот тут припухает. – Я провела пальцами под глазами.

– А ты не умеешь чужую боль унять? – снова спросила старуха.

– Нет. – Я печально вздохнула. – Не умею. Только вижу, и все.

– Ничо, научишься. – Старуха ласково потрепала меня по волосам, но смотрела при этом на маму. – Ты вот что, мадамка, девку мне отдай, – помолчав, сказала она.

– Как это – «отдай»? – Мама испуганно вскочила со стула.

– Та сиди, – махнула рукой старуха. – Обыкновенно – отдай. Учить буду. Я старая уже. Давно Господа молю, чтобы он мне годящую девочку послал. Видно, услышал он мои молитвы. А тебе она все равно ни к чему...

– Да как вы смеете!.. – вспылила мама, но старуха опять махнула рукой:

– Не брешу. Мне – не брешу. Девке на роду написано сиротой быть, это Генрих твой судьбу обмануть решил, тебя от смерти спас. Но тебе-то дите это ни к чему, я все вижу. А мне годится, вот и отдай.

– Да как же я отдам своего родного ребенка! – Мама все-таки встала со стула и бочком стала подбираться ко мне поближе.

Старуха тоже встала и сама отдала меня маме в руки.

– Так решим – привезешь мне ее через двадцать восемь дней. Привези – я над ней не дошптала. Та не бойся – силой не возьму, разве что добром отдашь. Толку все равно тебе от нее не будет – беглая она у тебя.

– Как это – беглая? – спросила мама, крепко прижимая меня к себе.

– А увидишь, если не отдашь, – ехидно усмехнулась старуха.

На этом разговор и закончился. Захарьевна дала маме узелок с травами, спросила еще раз, запомнила ли я стишок, и мы простились.

Мама пулей вылетела за дверь, дрожащими руками пристегнула меня и всю дорогу так крепко держалась за руль, как будто не вела машину, а толкала ее вперед.

Папа ждал нас и сам открыл ворота. Мама выбралась из машины, схватила меня и молча устремилась к дому.

– Аня, стой! – Папа догнал ее и повернул к себе.

– Нам надо уезжать. – Мама, ничего не объясняя, вырвалась и снова зашагала вперед.

– Да стой ты... Аня! Да что случилось? – Папа обогнал ее и взял за плечи.

– Она... Она сказала, что заберет Глорию, – губы у мамы задрожали, по щекам покатились слезы – в который раз за этот день, – эта твоя старуха... Ее украдут, я знаю... Нам надо уезжать... – Она снова попыталась вырваться, но отец не пустил, поднял на руки нас обеих и понес в дом.

– Да объясни ты толком, – попросил он, но мама только плакала, уткнувшись в его плечо.

– Мамочка, не плачь. – Я погладила ее по волосам и сказала отцу: – Папа, мне очень нравится Захарьевна, но мне не нравится, что мама из-за нее постоянно плачет.

– А почему мама плачет? – осторожно спросил отец, усаживаясь на кровать.

– Захарьевна сказала, что я ей подхожу и она будет меня учить. А мама испугалась, что она заберет меня насовсем. Но она же не заберет, правда? Это просто как в школу ходить, да? Ничего страшного.

– Ах, вот в чем дело, – протянул папа, снимая с мамы туфли и вытирая ей слезы своим платком. – Аня, послушай меня, детей уже давно никто не ворует. Тем более бабки. Они всегда подбирали себе сироток, или дурочек...

– Я не сиротка! И не дурочка! – Я рассерженно топнула.

– ...или таких способных девочек, как наша Глория, – примирительно добавил папа, – которая сейчас пойдет и попросит Зосю сделать нам чаю. – Он замахал мне рукой поверх маминой головы, мол, иди.

Я, надувшись, ушла на кухню, а когда вернулась с Зосей, несущей чай, мама уже не плакала, а, шмыгая носом, с интересом слушала папу. Он рассказывал о Захарьевне.

Она была не местная – казачка, приехала на Украину за мужем. Во время второй войны муж и трое ее сыновей ушли на фронт, а Захарьевну угнали в Германию немцы. Эшелон их по дороге разбомбили, но Захарьевна осталась в живых. Она и еще несколько человек ушли в леса, к партизанам.

– Она – настоящий партизан, у нее даже медаль есть «За храбрость», а ты говоришь – украдет ребенка, – укоризненно качал головой папа.

Когда война закончилась, Захарьевна вернулась домой, где ее ждали четыре похоронки.

– Она как села на стульчик, так и просидела три дня, – страшным голосом рассказывал папа, – не плакала, молчала, почернела вся от горя. А потом ушла в лес, и никто не видел ее восемь лет.

Зося ахала, мама слушала молча, закусив краешек платка.

– А потом вернулась, но в своем доме жить не стала, сама подняла себе хатку на окраине – ну, ты видела, – продолжал папа, – а где-то спустя полгода стали к ней «ходить люди». Лечила она травами, и молитвой, и заговором. Местные власти пробовали ее воспитывать, но как только приходил к ней какой-нибудь активист, Захарьевна молча начинала собирать узелок. «Ты куда это собралась?» – спрашивал «воспитатель». «Как куда? В тюрьму. От веры не отступлюсь», – спокойно отвечала она. Ну, на нее и плюнули. Сталин, на ее счастье, к этому времени уже умер, и кому была охота с ней возиться. Вот такая история, – закончил папа.

– «Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня...» – тихо сказала мама. – Бедная женщина...

– Ну как – бедная, – отец пожал плечами, – она одна из лучших знахарок в округе, уж поверь мне, я их человек двенадцать знаю. Кстати, несколько – совсем нестарые еще женщины, из тех самых военных сирот – бабки их подбирали, лечили, учили. На Украине очень сильная школа женской бытовой магии. Как они сейчас обходятся – я не знаю. Ну, у многих, правда, свои дети есть... Но чужих они, разумеется, не воруют, так что успокойся.

Мама не успокоилась. То есть плакать она тогда перестала, но еще примерно неделю изводила нас с Зосей – если раньше она почти мною не интересовалась и старалась держаться от меня подальше, то теперь ей все время надо было знать, где я, а лучше, чтобы я была «на глазах». Учитывая, что дома я сидела, только если заболела, а в остальное время мы с Игорьком обычно шлялись по деревне и окрестностям, а Зося вовсе не следила за мной постоянно – ей хватало дел по хозяйству, – нам пришлось нелегко.

Мама стала больше со мной возиться, сама укладывала меня спать. Нет, я ее, конечно, любила – как все дети любят своих родителей, но я не любила, чтобы со мной возились, и я привыкла, что папа мне читает на ночь. В общем, я просто привыкла обходиться без нее.

Смешно, папа столько лет таскал маму по врачам, надеялся, что рано или поздно проснется материнский инстинкт, а он себе спал и спал. Но как только маме пригрозили, что отнимут младенца – ап! – он, скотина, проснулся (инстинкт, не младенец).

Честно – я думаю, она сделала это нарочно. Бабка. Просто припугнула. Такие чудеса народной медицины.

Кстати, к ней мы больше не ездили. Мама четыре недели маялась – везти не везти, – но все решилось само собой.

Умер мой дедушка, папин папа, в далеком Челябинске, и мы все вместе улетели на похороны.

Эту историю мы с мамой вспоминали не так давно. Она рассказывала мне подробности, которых я не помнила, и вдруг пригорюнилась.

– Знаешь, – мама задумчиво водила пальцем по старой отцовской фотографии, – я вот все думаю... А может, зря я тебя тогда не отдала?

– Спасибо, мамочка, я тебя тоже люблю.

– Да я серьезно, – мама сердито толкает меня, – ты же была... как это сейчас говорят? Индиго? Я тебя даже побаивалась – читать ты научилась сразу, будто всегда умела, ничего не боялась, никогда не плакала. И взгляд был такой... недетский. А вдруг у тебя были эти... паранормальные способности? И надо было их развивать... А я испугалась... И жизнь тебе испортила.

– Конечно, испортила. – Я говорю очень серьезно, и мама начинает хихикать. – Но, мама, я ведь тоже немало крови у тебя выпила. Будем считать – квиты.

Мама смеется, но нить не теряет:

– Нет, послушай. Она же тебя вылечила тогда все-таки. Ну, будем считать – сильный гипнотизер, но я ведь тоже видела эту змею на воске, ты помнишь?

Я киваю. Из всей этой истории я помнила немного, но змейку на воске, железную мисочку, бабкины руки – большие и твердые, как буковые деревяшки, – не забыла.

– Ну, видишь, – говорит мама, – а еще ты перестала так болеть тяжело, как раньше. Были бронхиты, простуды всякие – но уж не пневмонии. Эх, если бы в третий раз поехали... И она же сказала, что ты беглая. Так и вышло – нигде ты не живешь дольше пяти лет, все дальше и дальше от дома, замуж не идешь, мужиков меняешь как перчатки... Никто тебе не нужен. Беглая, как есть.

– Ну, мам, – говорю, – ну ты чего? Так и я прорицать могу – сказать слово от балды, ничего не объяснять, и пусть потом сами придумывают. Толковый план, открываем контору? Ты будешь исцелять наложением чего-нибудь, а я – исполнять соло на магическом кристалле, идет?

Мама смеется, а мне того и надо.

Но разговор этот я вспоминаю и на бегу иногда думаю такую девчочковую мысль: «А что было бы, если бы...» Ну, все же девочки делают это, да? Мечтают, что вот придет лиловый негр в желтом «Мерседесе», то есть белый принц на белом коне, увезет в замок на Луаре и будет там ее... эгхм... осыпать лепестками роз. Всю оставшуюся жизнь, без выходных и перерывов на обед.

А я думаю о маленьком домике на берегу Днепра.

В детстве я мечтала стать лесником. И библиотекарем. И конюхом – но это позже.

Принц с конями и лепестками – это утомительно. А жить почти в лесу, среди книг, выращивать в огорожке удивительные травы, разводить всевозможное зверье...

Но увы. Как сказала когда-то мама, головную боль я умею только вызывать.

Глава 11

Осенью, когда мне исполнилось шесть лет, от нас насовсем уехала Зося.

Где-то на Буковине заболела ее сестра. «Инсульт, – говорила Зося, – совсем обезножела, поеду доглядывать».

Зося долго плакала, обнимала нас с мамой, а потом папа посадил ее в свой «жигуленок» и отвез в город. Больше я ее не видела. Никогда.

Кроме того, что все мы очень любили Зою, на ней держался весь дом – она воспитывала меня, готовила обеды, присматривала за животными. Папа и мама, конечно, не могли бы вести такое большое хозяйство, так что они решили подыскать какую-нибудь другую женщину в домоправительницы, но этому вдруг воспротивилась я. Я не желала видеть никаких других женщин на Зосиной кухне, нет, ни за что.

– Глория, не вмешивайся в разговоры взрослых, – недовольно сказала мама, – ты ничего не понимаешь.

– Подожди, Ань, – остановил ее папа и обратился ко мне: – Но послушай, дружище, тебя же выставили из детского сада, и где же ты теперь будешь обедать? Нам с мамой некогда возиться на кухне, сама знаешь...

– А я все равно ем у тети Гали, – сердито ответила я.

– О! Галя! Гениально! – Папа хлопнул себя по лбу. – А если мы Галю попросим помочь?

– Генрих, ты избалуешь ребенка, – нахмурилась мама.

– Но разве плохая мысль, Ань? Ты против?

Мама подумала и не нашла никаких возражений.

– Хорошо, я не против, – вздохнула она. – Галя – хорошая женщина и Глорию любит. Но, Генрих, ты не должен выполнять все капризы девочки, она и так растет каким-то башибузуком...

– Должен, должен, должен, – запел папа, подхватил нас с мамой на руки и закружил по комнате. – Вы – мои самые любимые женщины, и я должен выполнять все ваши капризы. Поэтому мы в воскресенье поедem в город, к портнихе, чтобы сшить тебе то голубое платье, помнишь, с крылышками, из немецкого журнала. А Глорию с Галей оставим на хозяйстве, да?

– Да, – смеялась мама, – да. Пусти, Генрих, у меня голова кружится...

Папа усадил маму в кресло, а она, сдув прядь со лба, насмешливо заметила:

– Но ведь Галя еще не согласилась.

– А вот мы прямо сейчас пойдem и уговорим ее, – весело сказал папа. – Ты с нами?

Но мама покачала головой, и мы с папой отправились вдвоем.

Тетя Галя как раз кормила своих мужчин ужином и нас с папой радушно пригласили за стол. Я из вежливости ковырялась вилкой в гуляше, папа держал речь, и его внимательно слушали ровно до того, как он сказал:

– Конечно, я понимаю, что вести два двора очень тяжело, и хорошо заплачу.

– Шо-о-о?! – взревел дядя Боря и стукнул кулаком по столу так, что запрыгали тарелки. – Наймычкою?! Та в жизни никогда этого не будет!!!

– Боря, ты все неправильно понимаешь, – начал папа, а тетя Галя молча уцепила дядю Борю за локоть и повлекла из-за стола. Отведя его подальше, она зашептала ему на ухо, время от времени поглядывая на меня:

– Боря, я пойду. Про дите подумай, хватит ей одной гадюки в доме, Глория мне как дочка, не оставлю девочку чужихе. Так что ты кричи не кричи – а я не отступлюсь.

Дядя Боря почесал затылок, потом, уже остывая, проворчал:

– Та как же ты потянешь два воза, Галя?

– Так мы с Глорией поможем, – пискнул из-за стола Игорек. – Мы ж хорошо вам помогали, правда, мамо, мы все умеем...

– Ну, не знаю, – дядя Боря нехотя сел за стол, – только разве помочь, как своим родственникам... Но грошей не смей брать, Галина! – строго закончил он.

– А и ладно, – легко согласился папа, – не хочешь денег – не надо. Я вот Галечке на Новый год машинку подарю, да, Галя? Какую хочешь – «Жигули»? Или «Запорожец»?

Тетя Галя заулыбалась, лукаво глядя на дядю Борю, а тот покраснел. Он давно хотел свою машину, копил на нее, но денег было недостаточно, да еще надо было долго стоять в какой-то очереди, а мой папа – он, конечно, мог все.

– Ох ты и хитрован, Гена, – смущенно покачал головой дядя Боря, – ох и хитрый... Вот кто змеище хитрое, Галина, а ты говоришь...

– Да брось, Борь, – папа махнул рукой, – ты же знаешь, я люблю, чтобы всем было хорошо.

На том и порешили. Дядя Боря, все еще смущаясь, сказал, что какой-то Павло из соседней деревни продает «Победу». Папа очень удивился и обозвал эту «Победу» ведром с гайками, а дядя Боря сказал, что это ничего, он ее сам переберет в лучшем виде и другой машины ему не надо.

Так мы с Игорьком стали тимуровцами. То есть это тетя Галя стала нас так называть. Мы и раньше, как все деревенские дети, помогали своим по хозяйству, но теперь это сделалось для нас игрой и спортом – мы превратились в настоящих сельскохозяйственных маньяков.

Я ужасно боялась, что, если мы не будем помогать тете Гале, она откажется у нас работать. Все просто – если вы когда-нибудь были домохозяйкой, то знаете, что даже в городской квартире работа не кончается никогда: приготовить обед – помыть полы – подшить занавески – сходить в магазин... А пыль ложится каждые два часа, кто не в курсе. Что уж говорить о деревне? Все то же самое плюс куры-утки-козы-кабанчик.

Так что я очень старалась – это я так, по-своему, хранила память о Зосе. А Игорь... Ну, Игорь был хорошим другом, поэтому помогал мне. А еще ему ужасно нравилось, что мы теперь «как взрослые». «Представляешь, – радостно говорил он, – мы все будем делать сами – как взрослые». Он очень любил делать все «сам».

Так что теперь мы просыпались в пять утра, Игорь сломя голову несся к нам на двор, где уже ползал с фонарем конюх Петро – включал свет в конюшне и амбаре, открывал ящики с комбикормом и зерном. «А, вот и мои деточки», – добродушно приветствовал он нас, и мы принимались за работу.

Мы научились доить коз, вдвоем могли поднять ведро с комбикормом, а еще Петро доверял нам иногда погонять на корде смирную гнедую кобылу или проехать пару кругов на битюге – чтобы скотина размялась. Мы были очень горды собой.

В шесть просыпался папа и в маленькой летней кухоньке готовил еду для собак. Псы встречали его многоголосым лаем (папа называл это: «Мой грузинский хор»). Он звонко кукарекал с крыльца, а мы каждый раз смеялись.

Потом папа заходил за нами и нетерпеливо говорил: «Бросайте все, бросайте, пойдем...»

И мы, пока еще было сухо и не очень холодно, шли с ним и собаками в лес – побегать.

Вставало солнце, лес манил нас голыми черными лапами, в холодном утреннем воздухе далеко разносился лай собак, а мы с Игорьком кидали друг в друга охапки ломких золотых листьев.

– Жалко, что люди не могут летать так, без всего, просто руками, – сказал как-то Игорек и показал, как это – руками.

– Ну, всегда можно полетать, если хочется, – ответил папа и неожиданно рухнул в листву, прямо на спину, раскинув руки.

Мы с недоумением уставились на него, а он похлопал ладонью рядом – мол, присоединяйтесь. Мы, смеясь, шлепнулись на землю и раскинулись двумя морскими звездочками.

– Что, папа, что? – спрашивала я, а он приложил палец к губам, а потом указал вверх. И мы уставились вверх, и небо потянуло нас к себе, мы падали и падали, все выше, за самые тучи, так, что кружилась голова.

Потом папа сел и спросил:

– Ну как? Здорово?

А Игорь сказал:

– Да-а-а... Как на парашюте...

– Нет, на парашюте все наоборот, – улыбнулся папа, – земля летит на тебя, как большой камень, понимаешь?

Потом мы возвращались, и папа кормил нас всех омлетом с помидорами – пышным, как пирог, щедро посыпанным зеленью, и Петро, восхищенно причмокивая, говорил:

– Уж такая знатная у вас яешня, Генрих Васильевич, что просто – ах. Даже моя жена-покойница ничего такого не умела изобрести...

А папа говорил «на здоровье» и подмигивал нам с Игорьком.

Потом папа с мамой уходили на работу, а мы подметали двор и бегом бежали к тете Гале, где запыхавшийся Игорь гордо отчитывался:

– Мамо, скотину мы упорали, двор подмели, так что вам только в доме работа осталась. Но мы и там поможем, если хотите...

– Ах вы, деточки мои золотые, – умилялась тетя Галя, – та нет, ничего не надо, идите уже поиграйте, – и насыпала нам полные карманы орехов и сушеных яблок.

– Какое «поиграйте», мамо, – укоризненно говорил Игорь, – мы теперь вам пришли помочь. Говорите, что делать.

И тетя Галя выдавала нам для чистки большие латунные тазы, в которых варила всяческие варенья, а после этого почти силком спроваживала со двора.

– Где вас носит? – напускались на нас другие дети. – Мы же собирались играть в войну двух великих племен, а без вас совсем не та игра...

– Нам не до глупостей всяких, – солидно отвечал Игорь, – мы делом занимаемся.

Мы тем не менее охотно включались в игру, а потом катались на шине и всячески колобродили до самого вечера, а вечером вся карусель начиналась заново – загнать скотину, покормить, подмести двор...

Говорят, что если человек сильно устает, то спит без сновидений. Но я помню, что в тот год мне снились замечательные цветные сны – про пиратов, Африку и полеты на Луну (я прочитала Сирано тогда), такие яркие и интересные, что я пересказывала их Игорю как сказки.

Не знаю, была ли реальная польза от всей этой нашей возни, но Петро и тетя Галя очень нас хвалили.

Когда возле сельпо женщины жаловались на своих детей, тетя Галя, небрежно поводя круглым плечом, сообщала:

– А у меня детки ну прямо золотые. И послушные, и работающие, так уже мне помогают, я на них не нарадуюсь.

– Та не хвались так, Галю, – говорила ей какая-нибудь из теток, – не бывает золотых детей, если только они у тебя не ангелы с крылышками.

– Ну, не знаю, – заносчиво отвечала тетя Галя, – нарочно придрасться, и то не к чему. Разве что... – Тут она как бы задумывалась. – Ой, вот Глориечка так плохо ест, так плохо... Ничего не впихнешь. И дите вроде небалованное...

– А с чего ж оно будет хорошо есть? – вмешивалась в разговор баба Вера, мой давний недоброжелатель. Это она разносила обо мне нелепые, «мистические» слухи. – Оно и не будет есть, бисова дытына, оно ж и жить не должно было.

– Та типун тебе на язык, старая кочерыжка! – возмущалась тетя Галя. – Шо ты мелешь?

– И не мелю, а чистисиньку правду говорю, – начинала свою излюбленную песню баба Вера. – И родилось оно синее и страшное, под самую ту ночь, когда ведьмы на Лысую гору слетаются на свое дьявольское веселье, и мать свою чуть не убило, и я не удивлюсь, если доктор тот с чертом побратался, шобы жизнь своему вылупку сохранить...

– Ой, и как же тебе не совестно! – Тетя Галя подперла крепкими кулачками тугие бока и сунула грудь на бабу Веру. – Советская женщина, а такое суеверие городишь... Та за такое и поп бы тебя не похвалил, старая ты бессовестная ворона...

Папеньку моего можно считать хорошим бароном еще и потому, что он всегда был в курсе всех сплетен и слухов, которыми жила деревенька.

– Глория, – говорил он мне, – ты знаешь, что эта старая ведьма тебя не любит. Будь осторожна, детка, не подставляйся.

– Но, папа, я же ничего плохого не делаю!

– А и не надо, – грустно улыбался он и цитировал: – «Будь ты чиста, как снег, нетронута, как лед, но клеветы тебе не избежать», понимаешь?

– Нет, – удивлялась я.

– Ну как тебе объяснить... – Папа по своей привычке начинал мерить шагами комнату. – Вот если я начну всем рассказывать, что ты никакая не маленькая девочка, а большой зеленый крокодил...

Тут я начинала смеяться, а папа продолжал:

– Вот-вот, на первый раз меня поднимут на смех. На второй задумаются, а на третий начнут к тебе присматриваться и говорить, что да, какая-то ты зеленоватая, и слишком много времени проводишь на болоте, и наверняка ешь других детей.

– Неужели люди такие глупые? – не могла поверить я.

– Люди всякие, – вздыхал папа, – и, к сожалению, довольно часто позволяют себе не думать, а только повторять чужие мысли – пусть и дурацкие.

– И что же делать?

– Ничего тут не поделаешь, – папа разводил руками, – против клеветы и мелочных придирок оружия еще не придумали.

– А если я всем скажу, что никакой я не зеленый крокодил?

– Сама подумай, как выглядит человек, который ходит и бормочет, что никакой он не крокодил?

– Как дурак? – поразмыслив, говорила я.

– Ну да.

– А если я надаю ей по носу или накричу на нее?

– Отлично, прослывешь истеричкой и драчуньей.

– Папа, так нечестно. – Я хмурила брови и фыркала. – Ну скажи же, что делать.

– Держаться подальше от этой гримзы, вот и все. – И папа ласково трепал меня по макушке. – Берегись ее, дружище.

Но конечно же я не убереглась.

Однажды мы с Игорьком нашли на тропинке мертвого черного цыпленка. Какой-то мужичина, видимо не заметив маленького покойника, еще и наступил на него сапожищем, так что трупик был плоским, как блин. Само собой, мы не могли пройти мимо – опустившись на корточки и отпихивая собаку, стали палочками переворачивать птичку. Пес вдруг зарычал, я сказала автоматически: «Миша, нельзя», – и тут нас с Игорем больно ухватили за уши.

– Ах вы, ироды! – орала баба Вера (а это была она). – Курчатко мое замордували!

– Пустите, баба Вера, то не мы, оно уже было дохлое! – заголосил Игорь, пытаюсь вырваться, но она не унималась, выкручивая нам уши:

– Я тебе дам – дохлое, байстрюк бессовестный! Отведу к матери сейчас, неповадно ей будет похвально такому покидышом! Ишь, взяла моду...

Я, честно сказать, совсем не привыкла к подобному обращению, поэтому не стала дожидаться, пока нас за уши протащат через всю деревню, и сильно укусила бабу Веру за жирную ляжку, а потом еще и пнула в голень.

– Ой, лышенько, убивают! – завопила та еще громче и разжала руку.

Я треснула ее и по другой руке, схватила Игорька за шиворот, и мы пустились бежать.

– Ой, людоньки, та шо ж цэ робыться! – неслись нам вслед вопли бабы Веры. – Убивцы! Изверги! Та шоб вы перевернулись, та шоб вас пидняло та гэпнуло! Уже я найду на вас управу, слезами кровавыми у меня умоетесь, чортивня проклятуца!

Миша мчался впереди нас огромными скачками, глупому псу казалось, что это такая веселая игра. Мы с Игорем со страху забежали на другой конец деревни и нырнули в лопухи.

– Ох и влетит нам, – пыхтел Игорь, пытаясь втиснуться поглубже в заросли, – ох и влетит...

– Да за что? Мы же не трогали этого цыпленка! – возмутилась я.

– Не за цыпленка. За то, что стукнули бабу Веру. – Игорек благородно решил разделить со мной вину. – Взрослых нельзя бить, или ты не знаешь?

– Не знаю! – заносчиво ответила я. – Папа меня учил всегда защищаться! Еще не хватало – будет мне всякая дура уши выкручивать ни за что! – Тут я прикусила язык, вспомнив папины слова про клевету. – Ой, Дзыга, нам надо срочно бежать к моему папе... Черт! Черт!

Мы выбрались из лопухов и помчались к больнице, но уже на подходах стало понятно – опоздали.

– ...мое курчатко! Эта цыганва черномазая и ваша хваленая дочечка, – доносился с больницы двора противный визг бабы Веры, – и меня чуть до смерти не закусали, прививки надо делать от бешенства!

Мы тихонько подползли за кустами поближе и осторожно выглянули на двор.

Баба Вера стояла, окруженная кучкой зевак, и потрясала перед папой цыплячьим трупом. Папа, большой и спокойный, в своем белом халате был похож на айсберг.

– Да что вы, Вера Павловна, дети не ядовитые, – с добродушной насмешкой отвечал он.

– А! Не веришь! – Баба Вера задрала платье и бесстыдно продемонстрировала восхищенной публике покусанную ляжку.

– Успокойтесь, Вера Павловна, не вводите в соблазн мужчин своей красотой. – Папа аккуратно одернул ее платье и приобнял старуху за плечи. – Пойдемте в мой кабинет и спокойно во всем разберемся.

– Никуда я не пойду от людей, пусть свидетелями будут! – Баба Вера воинственно стряхнула папину руку, а он, оглядев зевак с демонстративным изумлением, спросил:

– Люди? А при чем тут люди? Или есть еще смертельно укушенные моей дочерью? – По толпе пробежали смешки. – А может быть, она еще кого-нибудь убила? Корову? Собаку? Младенца?

– Та ни в жизнь девка докторская не тронула бы ни щеня, ни курча, – послышался чей-то голос, – то все наветы, люди, от же с толку сбила эта кликуша заполошная.

Все закивали, послышалось одобрительное бормотание, и люди стали потихоньку расходиться.

– Та как же... Та вот же... – вскинулась баба Вера, но папа снова обнял ее за плечи, развернул и повел к себе в кабинет.

– Разумеется, я заплачу за цыпленка. И обработаю рану, которую нанесла моя дочь. И разумеется, дети будут строго наказаны, – говорил он старухе.

– Слыхала? Дети будут строго наказаны, – испуганно шепнул мне Игорь.

– Не бойся, это он нарочно. Мой папа не такой. Не будет наказывать, не разобравшись, – уверенно ответила я.

– Хорошо бы, если так.

Угнездившись в кустах, мы стали дожидаться, пока уйдет вредная старуха.

Через некоторое время мы увидели, как папа, уважительно поддерживая под локоть бабу Веру, провожает ее до ворот. Когда он шел назад, мы к нему подбежали.

– Ну что? Влипли, шкеты-карапеты? – посмеиваясь, спросил он, а Игорек зачастил:

– Та то не мы, дядя Гена, она брешет все...

– Я знаю, мальчик.

Мы присели на одну из скамеек, стоящих на больничном дворе.

– Вот что, ребята. Бегите расскажите все Галине... Да не бойся, Игорь, твоя мама – разумная женщина, ничего тебе не будет, просто надо предупредить. Но будьте готовы к неприятностям, эта хавронья не успокоится, еще неделю будет сплетничать.

– Папа, а зачем ты заплатил за цыпленка? Теперь все будут думать, что мы и правда его убили, – обиженно сказала я.

– Цыпленок – это повод, маленький. Ну сама подумай – если бы дело действительно было в нем, никто не стал бы поднимать такого шума, ведь так?

– Так, – грустно кивнула я.

– Эй, гляди веселей! – Папа щелкнул меня по носу. – Ничего страшного, поболтают и забудут. Перетерпите. – И он улыбнулся нам с Игорем.

Смерть черного цыпленка с крошечным красным гребешком взбудоражила всю деревню. Баба Вера неустанно добавляла новые, леденящие кровь подробности – речь шла уже о черном петухе с выколотыми глазами, о том, что не зря я, чертово отродье, связалась с цыганским выблядком – наверняка мы собирались навести порчу на всю деревню. Приплеталась и коза – воплощение дьявола, а то, что никто не видел нас с Игорьком летающими на метлах и сосущими кровь, так это потому, что мы еще слишком малы. Вот подрастем, и тогда...

Все вроде как посмеивались, но на нас стали оглядываться, а кое-кто и плевался через левое плечо на всякий случай.

Игорек, мальчишка злопамятный и не терпящий обид, не мог относиться к этому спокойно.

– Вот же гадюка! – злился он и тормозил меня: – Глория, придумай что-нибудь... Надо отплатить гадюке этой...

– Да что же я придумаю? Морду ты ей не набьешь, она же взрослая тетенька, доказать ничего не сможешь, она же просто врет для удовольствия, помнишь, что мой папа говорил...

– Ну придумай... Придумай, – канючил Игорек, – ты же это... коварная...

– Ладно. Буду думать. – Я положила метлу (нет, мы не летали, просто подметали двор), заложила руки за спину и стала ходить взад-вперед, старательно морща лоб.

Игорек с надеждой смотрел на меня.

– Так, – поразмыслив, с важностью сказала я, – есть мысль. Будем бить ее же оружием.

– Сплетничать? – ужаснулся Игорек.

– Нет. Она же верит во всю эту чепуху с колдовством, да? – Я победно повернулась на пятках и снова зашагала маятником. – Так мы ей устроим Вальпургиеву ночь с цыганочкой... Вернее, с цыганчонком.

Игорек хихикнул, а я обняла его за шею и зашептала на ухо.

– Ироку! Ироку! – рассмеявшись, радостно закричал Игорек, дослушав меня до конца. – С нами Великий Дух индейского коварства!

– Тихо, не шуми, – одернула я его, и мы стали готовиться к войне.

Для начала мы влезли к бабе Vere во двор и все там хорошенько расшарили. Всех деревенских собак я знала как облупленных, поэтому старухин Букет (да, на этом стóбит остановиться подробнее. Всех деревенских собак звали Сирко, Пальма или Букет. Если с Сирком – дело ясное, то по поводу Пальмы с Букетом ничего сказать не могу. Ну, может, фильма была

какая – не знаю), так вот, старухин Букет с благодарностью принял из моих рук кильцэ ковбаски и мешал нам только тем, что ходил следом и совал нам в карманы морду.

Букет был нервным, впечатлительным псом, как раз таким, которых клоуны в цирке учат «петь» под губную гармошку, на этом и строилась наша первая мистическая атака.

Игорек свистнул у своего отца стеклорез, мы аккуратно разрезали десяток бутылок из-под волшебного напитка «Дюшес» так, чтобы получились такие, знаете, стеклянные воронки. Потом мы набрали камней размером с кулак, обвязали веревками, приспособили к каждому воланчики из перьев и снова наведались к бабе Вере (в ее отсутствие, как вы понимаете).

Мы забрались на чердак. Там было пыльно, повсюду свисала паутина – баба Вера была слишком старой и тучной, чтобы взбираться туда. На чердаке мы развесили камни, на самом сквозняке, так, чтобы они стучали о деревянные перекрытия, когда ветер будет раскачивать их. После мы занялись бутылочными воронками.

– Эх, – грустно сказала я, – по уму-то их надо вмуровать в дымоход...

– Как же мы их вмуруем? – пригорюнился Игорь.

– Да никак. Примотаем к подоконнику изолентой, там, где окно разбито, или еще куда. Только надо направление ветра определить.

Мы долго ползали по чердаку с наклюявленными пальцами и перышками, пока не определились с местом диверсии. Решено было вставить бисови дудки (так их назвал Игорек) в щели выходящей на задний двор стены чердака.

– А Букет услышит отсюда? – переживал мальчик.

– Конечно, услышит, – успокоила я его, – у собак слух гораздо тоньше, чем у людей.

Мы приладили орудия мести, и в них тотчас же загудело – звук был негромкий, но тоскливый, такие прерывистые то ли стоны, то ли вздохи, и это днем, когда сильного ветра обычно не было. Мы спустились во двор, и я позвала собаку:

– Букетик, иди, на клетку.

Пес подошел, но котлету съел невнимательно, все время напряженно взглядывал вверх, шевелил ушами и поскуливал.

– Ты смотри, работает! – обрадовался Игорек, а я строго сказала:

– Через три дня снимаем, а то собака с ума сойдет.

Игорь кивнул, и мы убрались дальше плести свои козни.

Тем же вечером Букет исполнил душераздирающее соло, он выл так тоскливо и вдохновенно, что другие деревенские собаки присоединились к нему. Концерт продолжался всю ночь, то стихая, то снова набирая силу, и никто не мог успокоить собак.

Деревенская наша жизнь не была так уж богата событиями, поэтому на следующий день все охотно обсуждали «сбесившихся собак». Бабе Вере снова удалось завладеть общим вниманием.

– Ой, бабоньки, – с удовольствием жаловалась она, – то смерть моя за мной приходила. Чую вчера, по крыше – топ-топ, топ-топ, а собака воет и воет, прямо так воет, шо аж сердце захолонуло... Порчу на меня навели, как есть порчу. Я уж знаю – кто...

В связи с темой предыдущих ее докладов деревенские очень хорошо понимали, кто эти «кто», но они бы очень удивились, если бы знали, насколько в этот раз были близки к истине.

– Слушай, по-моему, она больше обрадовалась, чем напугалась, – сказал мне Игорек, с неудовольствием наблюдая за выступлением врагини нашей в кругу внимательно слушавших ее женщин.

– Ничего, это цветочки, – сказала я.

– А ягодки? – спросил Игорек.

– Крысы, жабы и змеи, – свистящим шепотом ответила я.

Без крыс, увы, пришлось обойтись. Наловить должное количество живых пацюков не представлялось возможным, летучих мышей я отказалась мучить, пришлось обойтись жабами и ужами (вместо змей).

За два дня мы накрали большую миску куриных яиц и поставили дома у Игорька под печкой, чтобы стухли, а рядом пристроили миску с вишневым компотом, чтобы забродили вишни. Потом взялись за жаб.

В две немаленькие корзины мы собирали сонных осенних жаб – bufo bufo их фамилия, выяснила я по книжке. Мы даже не поленились спуститься в котлован, который вырыли под новый больничный корпус (да, мой папенька процветал, как обычно), где набрали странных желтых полуслепых жабцов, живущих в огромных ржавых трубах.

Всю нашу добычу мы старательно сносили во двор к бабе Вере. Жабы в деревне не редкость, конечно, но не в таких количествах. Была глубокая осень, жабы почти не расползались, так и сидели в грядках, а поскольку каждая деревенская женщина проводит в огороде довольно много времени, скоро у бабы Веры появилась новая тема для разговоров:

– Чи дождь прошел из жаб, чи шо? Не пойму... Одолели проклятые, спасу от них нет. И такие ж страшные, линялые, тощие... Ой, не к добру это, бабоньки...

Но на этот раз публика реагировала не так душевно, и уже на бабу Веру стали посматривать косо. Ну, согласитесь, дождь из жаб – это уже слишком.

А тут и яйца поспели. Мы с Игорьком отправились в лес, к небольшому заболоченному родничку, где брала свое начало Пояйла, – за ужами. Ужей удалось наловить всего семь штук, остальные, как видно, разошлись спать.

Ранним утром, а вернее, еще глубокой ночью мы прокрались в старухин курятник. Я полезла внутрь, а Игорь остался сторожить.

Я сразу включила папин рыбацкий фонарь; чтобы куры не напугались, стала приговаривать: «Цыпа-цыпа-цыпа», – и насыпала в поддон для корма забродивших вишен.

Глупые птицы послушно собрались в круг света и начали клевать. Осталась мелочь – подменить яйца на тухлые, разбросать яичную скорлупу и пристроить ужей на видном месте. Бедных рептилий мы бессердечно держали на холоде всю ночь, так что оформление «куриного гнезда с вылупившимися змеями» прошло без проблем – несчастные гады не сделали и попытки поползти.

Я погасила фонарь, выкатилась из курятника, и мы удрали. Злюка-Игорек, пока я там возилась, еще и вбил два тухлых яйца бабе Вере в нужник. Да, деревенский сортир и так не сад волшебный, но вонь от тухлых яиц перекрывала все, как рев моего папеньки – бабий визг.

Все утро мы работали спустя рукава – нам не терпелось узнать, увенчается ли успехом наша выходка. Результат, надо сказать, превзошел все наши самые смелые ожидания – баба Вера отыграла как по нотам. Действительно, складывалось впечатление, что мы втроем разыгрываем эдакий спектакль для всей деревни, а баба Вера – гениальный актер, который играет, не зная роли, но не делает при этом ни одной ошибки. К сожалению, мы с Игорьком не смогли посмотреть «второй акт», мы намеренно держались подальше, из осторожности, но об утреннем переполохе у бабы Веры узнали практически из первых рук.

Однако по порядку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.